

18+

СТАНИСЛАВ  
БЕЛКОВСКИЙ

ISBN 978-5-17-096149-8



РУССКАЯ  
СМЕРТЬ

**А**  
АНГЕЛЮНИЯ  
проект Данишевского

Ангедония. Проект Данишевского

Станислав Белковский  
**Русская смерть (сборник)**

«АСТ»

2017

УДК 94(092)(470)  
ББК 63.3(2)635-8

**Белковский С. А.**

Русская смерть (сборник) / С. А. Белковский — «АСТ»,  
2017 — (Ангедония. Проект Данишевского)

ISBN 978-5-17-096149-8

Смерть у нас в России – вещь довольно банальная. Зачастую проще умереть, чем пообедать. Особенно в часы пик. Еще во время экономического кризиса 2008 года была опубликована программа «Русская смерть», где утверждалось: верный рецепт выхода из пике – сократить население страны на 15–17 млн человек. Иначе не спастись. Человек, как и государство, умирает в момент полного исполнения его жизненного задания. Потому русская смерть – это не катастрофа и даже не беда. Это просто продолжение нашей жизни после нынешней России. О чем много говорится в этой книге Станислава Белковского.

УДК 94(092)(470)

ББК 63.3(2)635-8

ISBN 978-5-17-096149-8

© Белковский С. А., 2017

© АСТ, 2017

## Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Зюльт. Рассказ в одном действии   | 6   |
| Восемь и семь десятых             | 6   |
| Поцелуй мутанта                   | 14  |
| Клиническая смерть                | 25  |
| Никодим                           | 34  |
| Остров                            | 39  |
| Мария                             | 45  |
| Покаяние. Пьеса в двух действиях  | 52  |
| Первое действие                   | 53  |
| I                                 | 53  |
| II                                | 56  |
| III                               | 63  |
| IV                                | 65  |
| V                                 | 74  |
| VI                                | 76  |
| VII                               | 81  |
| VIII                              | 86  |
| IX                                | 88  |
| X                                 | 89  |
| XI                                | 91  |
| XII                               | 92  |
| XIII                              | 94  |
| XIV                               | 95  |
| XV                                | 96  |
| XVI                               | 98  |
| XVII                              | 99  |
| XVIII                             | 101 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 102 |

# **Станислав Белковский**

## **Русская смерть**

© С.Белковский, текст

© ООО «Издательство АСТ»

## Зюльт. Рассказ в одном действии

### Восемь и семь десятых

- У нас сегодня сколько?
- Тридцать девять и восемь, Леонид Ильич.
- А у них?
- Сорок восемь и пять.
- Почему не «Леонид Ильич»? Черт их всех не разберет.
- Значит, мы на десять процентов отстаем?
- Ну зачем на десять?..
- «Зачем» – это я тебя хотел спросить. И «почему» – тоже хотел.
- На восемь целых семь десятых.
- А было три с половиной?
- Было три целых пять десятых, Леонид Ильич.
- Вот. Теперь есть.

Брежнев еще мог бы напомнить Суслову, что с самого начала было три с половиной в нашу пользу. Но не стал. Зачем напрягать чувака? Он и так весь выглядит, будто на нем картошку чистили.

Привязалось же это слово – «чувак». Молодежь теперь так говорит. Внук, Андрюшка. Или сын. Нет, сын уже не молодежь. Он так говорить не может. Как это – чтобы у семидесятитрехлетнего старика сын был молодежь. Так разве бывает? У семидесятитрехлетнего старика. Семьдесят три. Не так уж много, если задуматься. Какой-то еврейский царь – или пророк, бес их там всех знает – до ста двадцати правил, пока мертвым в бассейне не нашли. Это Никодим рассказывал. А Никодиму-то сколько было, когда умер? Сорок девять. То-то же.

Нет. Даже сорок восемь. До сорока девяти не дотянул немного. Он-то октябрьский. А умер в сентябре. В начале. Еще когда дождь такой крупный бился о кремлевское стекло.

А говорят, у Брежнева памяти нет.

Семьдесят три.

Витя передала. Чазов лепит, что на самом-то деле организм у меня на семьдесят восемь. Минимум. Дряхлый такой. Укатали сивку крутые горки. А зачем передала? Бабы – дуры. С тех пор об этом и думаю. А чего думать-то, если разобраться. Семьдесят восемь минус семьдесят три равняется пяти. Пять лет разницы всего. По сравнению-то со ста двадцатью и смертью в бассейне. Приходят в бассейн в «Завидово», а там – охрана недосмотрела, кирдык.

А еще лучше в бассейне «Москва». Принять с утра рюмочку. Зубровки какой хорошей или наливки. Поехать встретиться с народом. Народ наш советский стариков любит. Уважает, по крайней мере. А stodvadcatiletних-то и подавно. Таких-то стариков никто нигде живыми не видел. Говорят, в горах. В Грузии. Или на Памире. Пик Коммунизма – это на Памире? Вот где-то там. От горного воздуха живут и живут, и ничего им не делается. Никакой Чазов не нужен. Пять лет туда, пять лет сюда – как послеобеденный сон. Хотя врач какой-то мне после войны говорил, что после обеда сон серебряный, а до обеда – золотой. И врач-то был из дворянского рода. Как-то на букву Б. Отчего его не расстреляли, сам не понимаю. Не упоминаю сам.

Но чтобы в центре Москвы и не спустившись с Коммунизма, а прямо прибывши на машине из близлежащей Московской области – такого-то никто не видел. И тогда пойти в бассейн. Передозировка хлорки – и умереть.

И сразу вой-то какой начнется! Мол, кого потерял и-то, чуваки! Тьфу, черт, опять это слово дурацкое. Я-то матом не ругаюсь. А то бы сказал, как есть. Ну почти не ругаюсь. Про себя не ругаюсь. Про себя-то чего ругаться? Ругаться надо громко, чтобы смысл был, и дело становилось. А так просто, как базарный извозчик в такой грузный день...

День и впрямь был грузный. Вроде и холодно, да и как-то не свежо. И кондиционер не включишь, и окно не откроешь. Это они не продумали. Чазов вообще не думает. Зачем Вите говорить, что я дряхлый на семьдесят восемь? Ну зачем? Сегодня семьдесят восемь, а завтра. Бух в котел – и там сварился. Иосиф Виссарионович этого Чазова бы... Нет, уже привыкли. Уже серафиновым спиртом не вытравишь.

Они лучше решили бы, кто некролог писать будет. А то обычного говна сладкого своего нальют: видный деятель коммунистического и рабочего, верный сын чего-то там. А чего я верный сын? Я своих родителей так себе сын. Хотя они-то нынче там радуются. Что не спился их Ленька, и пресс кузнечный ему в цеху ногу не раздавил. А стал их Ленька большим начальником над половиной мира. Ей-ей, не шучу. И если в Берлине Леньку поминают, в Пхеньяне аукается. Полмира. Шутка ли! И слова какие знаю теперь – Пхеньян.

Бовин исчез куда-то. У Игнатенко этого нового, его Суслов привел, рожа какая-то уж больно сладкая. Как у арбуза перекишего. Воняет прямо гнилым арбузом.

Этот точно сказал бы, что выгляжу на шестьдесят пять. И ни один волос в носу не дрогнул бы.

Тут, правда, мне один чувак...

Ексель-моксель.

Тут один мне парень понравился. И даже не помню, кто привел. Лет сорок ему, седовласый. Я-то в сорок лет седым не был, хоть и войну прошел. А этот, может, и красится. Ну и пусть себе красится в конце-концов. Так даже лучше выходит. Высокий такой. Пожал мне руку и говорит: «Рукопожатие крепкое у вас, Леонид Ильич!»

Во: рукопожатие крепкое! А не на семьдесят восемь дряхлость, как у мудака Чазова.

И хотя я про себя матом не ругаюсь. Но мудака – это ж не матерное слово. Или матерное. Надо справку отдела науки запросить. Руки все не доходят, черт его раздери. Продовольственная проблема к горлу подступает, тут уж не до мудака. Мудак потом. Ближе к бассейну.

А этого седовласого сорокалетнего я даже по имени запомнил. Саша Проханов его зовут, вот. Писатель он. Пишет там про что-то. Может, и возьмем. Надо с кем-то еще посоветоваться. С Михалковым. Он говорит, правда, как-то долго. Заикается вечно. Как меня увидит, так и начинает заикаться. От волнения, дескать. Хоть я-то не Иосиф Виссарионович, который ему карандаши дарил. Интересно, исписал он карандаш или нет еще? Или в запретном серванте держит, чтобы ни комочка не отвалилось? А может, крысы погрызли? Представляешь себе: приезжает Михалков на казенной «Волге» к себе на дачу, на Николину Гору. Сразу лезет в запретный сервант посмотреть, на месте ли Иосифа Виссарионыча карандаш. А там уже все крысы погрызли! Один ластик остался! Заикайся теперь, не заикайся – трындец всему. Это меня внук Андрюшка научил: вместо «пиздец» говорить «трындец». Какое-то слово переводное и почти что даже не матерное. Но Михалкову-то все равно. Ему что трындец, что пиздец. Был великий карандаш, да весь и погрызли. Просрал карандаш, батенька. Навсегда просрал. Потому что от крыс никакой запретный сервант не помогает. Это если б ты в Днепродзержинске на кузнечном цеху поработал, сразу бы знал. Крысы даже фрезерный станок сожрут, если голодные. А ты-то, заика хренов, только все по Москве и Московской области. Хрюкнул коньяку в «Национале», закусил селедочкой в «Метрополе» – и с шофером личным на имение, в Ни-колину Гору. Ну еще по заграницам, конечно. Здесь гим-нюку гребаному равных нет. Как тебе было карандаш сбе-регти! Теперь-то уж только стреляться. Но ты и наградной пистолет, что я тебе на юбилей справил, профукал. На шестьдесят лет я ж тебе, сука – а вот это точно не матерное, собака простая, женского пола, правда, – я тебе

этими дряхлыми руками вручил. На твои шестьдесят лет, не мои. Я тебя лет на семь старше, помню, почти точно помню. А потом твой сынуля пистолет в Америку вывез. Продал его там каким-то евреям и на вырученное жил три года. Ему ж кино-то снимать не давали. Да и теперь не дают – кому нужен сын заики советского долговязого? Мне таможенники тогда говорят: «Леонид Ильич, вывез сынок наградное оружие-то». А я им: «А вы чего ж не задержали-то, дурачье?» А они мне: «А он все вашим именем клялся. Дескать, позвоню Леониду Ильичу, он все временно разрешил. Мы и зассали как-то».

Зассали.

Вот до чего дошли советские органы управления.

Я им временно разрешил, так они и зассали.

А если им обратно временно запретить, как Иосиссарионыч?

Что бы там Чазов ни трындел. Я хоть и говорю плохо. И перловка несвежая во рту у меня. Я не заикаюсь. Как некоторые. И до самого бассейна «Москва» заикаться не буду. До ста двадцати.

– Какого числа выборы, Михал Андрейч?

– Двадцать четвертого февраля, Леонид Ильич.

О! «Леонид Ильич». Снова понял. А то забываются кругом, демоны. Временно разрешил.

– Это, значит, какого года?

Вот из-за этого и поговаривают, что Леонид Ильич в полном маразме. А он вообще ни в каком ни в маразме. Он просто хочет, чтобы у козла Суслова тоже мозги ворочались. А не только у Генерального секретаря и Председателя Президиума. А то вишь, скажут: временно разрешил.

– Одна тысяча девятьсот восьмидесятого, Леонид Ильич.

– Это, значит, как почти когда Олимпиада у нас?

– Совершенно верно. У нас. Девятнадцатого июля открытие. Одна тысяча девятьсот восьмидесятого года.

Мог бы сказать и «так точно», но не военный же. Так что пусть будет и «совершенно верно». Устинов с Андроповым вон говорят «так точно», а толку что? Не прибавляется. Даже не знают, что делать, когда Генеральный секретарь в бассейне «Москва» концы отдаст.

А ведь отдаст – что тогда со страной будет.

Так точно.

И Олимпиада эта свалилась нам на голову, будь она неладна. Я, если разобраться, всегда против был. Народ без сапог ходит, так еще и Олимпиаду за три миллиарда рублей. Три миллиарда советских рублей! У меня на цифры память вообще плохая, а тут запомнил. С точностью до нулей. И Никодим, владыка Никодим мне говорил: «Глумцы-акробаты не доведут до добра. Закрывай Олимпиаду, Леонид Ильич».

Но как уже закрывать-то? Поздно. Это сначала Никсон меня втравил. Голову совсем заморочил: вот проведешь международные Игры, имидж Советов исправишь. А какой еще у Советов имидж? Зачем его исправлять? Вон Иосиссарионыч никаких Игр не проводил. А Гитлер, дай бог память, проводил. И? Имидж у нас сломался, тоже мне разбери?

А потом полезли из всех щелей. Вон тот же Суслов. Проводить, чтобы обязательно проводить. Тогда мы всем докажем и покажем, чего стоит развитой социализм. И летние валенки на соболином меху. А что доказывать-то?.. Эх... Кто слушать-то будет?

И дети мои туда же. Им бы покрасоваться, с иностранцами выпить-погулять. Говорят, давай, давай Олимпиаду, когда еще будет!

Вот вам и Олимпиада. Три миллиарда – и без сапог.

Я в прошлом году на Юрмалу заезжал. Так тамошний первый секретарь, Август Эдуардович, фамилия какая-то короткая, хрен запомнишь, перебрал своего «Рижского бальзаму» –



а его, по мне, так и в рот не возьмешь, противный такой, я про бальзам сейчас – да прямо и говорит у меня на плече:

– Знаете, Леонид Ильич, какое самое большое достижение Латвийской компартии за всю ее историю?

Эти прибалты умеют говорить витиевато. Они ж раньше немцами были, пока мы их окончательно не спасли.

Я хотел спросить, какое же именно, но не успел – рот был весь ихней семгой забит. Говорят, что семгу прямо у порта Вентспилса ловят. Но знающие люди из сельхо-зотдела докладывали, что семга-то на самом деле норвежская, на нее латыши-жулики только этикетки клеят. Верю, верю. В глаза Августу Эдуардычу как посмотришь – и не в то поверишь. Еще.

А бальзам я их «Рижский» на дух не переношу. Вот просто вкуса не перевариваю. Это как микстура детская, только грязная, вредная какая-то.

И Август Эдуардович-то продолжил:

– Самое большое достижение, Леонид Ильич, – а еще с акцентом таким противным, будто только что из оккупации и Иосиссарионыч временно разрешил, – что мы на Политбюро пробили, чтобы олимпийская регата не у нас проходила, а в Таллине.

Я даже мыслями так сделать не могу, каким акцентом этот шпротный человек говорит.

Он же пьяный совсем. Прибалтам столько пить нельзя. Он ведь что только сейчас сказал? Что обманули мы Политбюро. И тебя, товарищ Генеральный секретарь, со всем твоим великим подвигом, вокруг пальца обвели. Ведь вы нам олимпийскую регату поручали? Поручали. А почему она теперь не у нас, а в Таллине? А чтобы мы и дальше свои этикетки на норвежскую рыбу клеили. А эстонцы, значит, без сапог. Хотя, может, эстонцы и в сапогах. Они всегда тоже устраиваться умели. Вот мне Суслов рассказывал (или это Никодим был? Нет, Суслов все-таки), что эстонцы в первый же день немецкой оккупации от всех евреев избавились. До единого. Кого убили, а кого фашистам выдали. И как-то это еще называли красиво, как дорогие духи. Вот «Шанель № 5» помню, а это не помню.

– Михал Андрейч!

– Да, Леонид Ильич!

– А вот когда эстонцы всех евреев фашистам выдали, это как называлось?

– Юденфрай, Леонид Ильич. Но это не только эстонцы, это вообще, если кто где евреев.

– Ладно, ты мне голову-то не морочь. Хорошее слово. Повтори еще раз. Как там, ты говоришь, иденрай?

– Юденфрай, Леонид Ильич.

Красиво, действительно. Но так немецкие духи должны называться, не французские. Типа «Лагерфельд»? Есть такие. Тоже что-то лагерное. Иосиссарионычу понравилось бы. Шутка. Шутка это была, но вслух же такую не скажешь. Никто ж не засмеется. Он-то временно ничего не разрешал. Это вам не Леонид Ильич.

Надо будет канцлеру Шмидту позвонить, спросить. Может, и закупим к Олимпиаде миллион коробков «Юденфрай». То есть «Лагерфельд». Чтобы иностранцев порадовать. Чтoб они женам чего с нашей Олимпиады домой привезли. Все толк будет. Может же и от Олимпиады какой толк получится.

А Августу Эдуардычу этому с его регатой я еще припомню. Он в протоколах-то пусть читает, как я Петю Шелеста прихлопнул. Взял и прихлопнул, никто и не пукнул. Шпротнику этому через год, говорят, шестьдесят пять? Ну и хорошо. Проводим на заслуженный отдых. Радиоприемник «Спидолу» подарим. Чтобы «голоса» слушал, она берет. И ящик «Рижского бальзама». А то и два ящика. Такой запах будет, что к нему до смерти самой никто близко не подойдет.

А в Латвии, мне сказали, уже сорок процентов русских? Вот мы им русского первого секретаря и сосватаем. Хоть Суслова. Который тут сейчас сидит передо мной и улыбается, как будто мы побеждаем. А мы в жопе полнейшей, товарищ Суслов. На восемь целых семь десятых отстаем. Председатель Президиума Верховного Совета СССР проигрывает в одномандатном округе вождю диссидентов академику Сахарову. Вообще не попадает Председатель в свой Верховный Совет. И где проигрывает – в Москве, в столице! А Сахаров – проходит. И что тогда скажет весь мир? Что зря Ленка Брежнев из Днепродзержинска уехал, лучше б на Днепровском заводе кузнечным цехом руководил.

А еще лучше – замглавного технолога. К сорока годам – трехкомнатная, к пятидесяти – семь соток. И никаких проблем. Десять ящиков водки, хватит на первую половину отпуска.

Правда, Суслов никакой не русский по сути. Он чеченец. Не смейтесь. Сейчас расскажу. Сам себе расскажу.

– Михал Андрейч, а сегодня какое число?

– Двенадцатое декабря.

Опять без «Леонида Ильича». Ну да ладно. Устал. Я устал.

А то не помню, что двенадцатое декабря. Вчера ж одиннадцатое было – Витин день рождения. Я ей цветов подарил. Охранники привезли. И палехскую шкатулку. Поцарапанную малость, но ничего. Старую, зато настоящую. Мне первый секретарь ивановский лет пять как прислал. А она не плакала. Жена-то не плакала. В первый раз за всю жизнь ни слезинки. Вот ведь как бывает.

– Значит, осталось два месяца?

– Два месяца. Чуть больше – два и две недели.

– И восемь с половиной сейчас?

– Восемь целых семь десятых, Леонид Ильич.

– А там еще Новый год и все такое. Все наши в запой уйдут. Значит, если так, Леонид Ильич Брежнев, первое лицо партии и государства, пролетает мимо Верховного Совета, а туда влетает прямо академик Сахаров? И все это происходит в городе Москве? Где заседает сам Верховный Совет, ЦК и все прочие остальные органы всесоюзной власти? Так?

Я не кричал. Куда мне кричать с моей дряхлостью? Семьдесят восемь, проклятый Чазов. Я просто хотел, чтобы Суслов нашел, че ответить.

А он замолчал. Потому что подумал, что я закричал. И не смог сразу справиться с волнением, хоть и кавказец.

Суслов же сызмальства был какой-то Алханов или Гелаев. Он в Чечне родился. В Чечено-Ингушетии, она так, кажется, называется. Иосиф Виссарионович так окрестил.

До войны еще Суслов там комсомол возглавлял. А перед самой войной, в сороковом, кажется, стал первым секретарем Грозненского горкома. Партии. И, говорят, потом немцам очень помогал. Что-то типа «лагерфельда» с иденраем они там устраивали. Нормально никто не знает, но слухи ходят. И был он тогда никакой не Михал Андрейч, а вроде типа Ваха Русланович или нечто что-то похожее.

Хотя откуда на Кавказе евреи, если подумать? Но с другой стороны. Могли там быть евреи, и много. А потом пришли немцы и устроили вместе с Сусловым свой «лагерфельд». Так ведь тоже могло быть?

Черт его разберет. На архивы времени уже никакого не остается, даром что до ста двадцати.

А в сорок четвертом – это я точно знаю, мне и Андропов по секрету докладывал – Ваха Русланович проспал депортацию. Вот ей-ей – начисто проспал. Заснул в Грозном где-то на чердаке. Надо было к пяти утра явиться на сборный пункт. Чтобы в эшелон – и дальше до Казахстана. А он не явился. И ничего ему за это не сделалось.

Стал он скоро Михаил Андреечем Сусловым и перебрался в самую Москву. Когда я еще молдаван ленивых песочил. А говорят еще, что евреев трогать нельзя. Врут, наверное. Вот у меня жена типа вроде еврейка. Я ее и не трогаю. Как говорят, так и делаю. Товарищ Генеральный секретарь и Председатель половины земного шара.

– Леонид Ильич, надо честно признать, посмотреть правде в глаза. В Москве разрыв нарастает!

Ты ж, собачий сын, идеолог, член Политбюро! А зачем ты мне слово «Москва» говоришь? Мы же в Москве с Сахаровым и боремся. А в других местах-то и не боремся. Так ваши дурацкие одномандатные округа устроены. В Москве нарастает – а что, есть где-то, где не нарастает? Где Леонид Ильич обходит академика Сахарова и прямо себе въезжает в Верховный Совет, на свое обычное председательское?

– А не в Москве что – не нарастает?

– По СССР рейтинг в среднем восемьдесят два на четырнадцать в вашу пользу. Только в Москве ситуация экстремальная. Уникальная, я бы сказал.

Вообще, восемьдесят два плюс четырнадцать равно девяноста шести. Ну и пусть. Пусть будет. Мне-то что.

– Почему? Мы ж Москве всех больше даем. Вон в ГУМ зайти – и в универмаг какой-нибудь в Костроме.

Давненько не был ни там, ни там. Надо б исправить. Черт, опять забыл – как звали того седовласого? Который писатель?

– В Москве переизбыток интеллигенции. Она к материальным благам развитого социализма достаточно адаптирована. И вся как один за Андрея Дмитриевича.

– За кого?

Да, нельзя было так резко, по имени-отчеству чужого человека, да еще как бы врага.

– Андрей Дмитриевич – это Сахарова так зовут.

– Академика Сахарова?

– Академика, Леонид Ильич.

Помялся-перемаялся. А то не академика? А кого? Рас-топщика готовален, что ли? Ну и чего мяться-то, Руслан Гелаевич, или как тебя там?

В конце сороковых у Иосифа Виссарионовича появилась любовница. Чеченка. Не первой свежести, под полтинник или даже немного за. Но – глаз не оторвешь. Волосы черные, как трибуна Мавзолея. А она разве черная? Но дело не в этом. Когда надо, то и черная, очень даже бывает. Я ее – любовницу, не трибуну – один раз видел. И глаза оторвал, чтоб мне их самому не оторвали. Вот она-то и притащила откуда-то Ваху Аслановича. И Сусловым его сделала. Усыновил его какой-то партраб районного масштаба. А Иосиф Виссарионович как раз про евреев что-то удумал, тут наш Суслов и пригодился. Стал референтом по еврейскому вопросу. По части этого юденрата или как его там. А в пятьдесят втором – уже замзав идеологическим отделом. Дальше Хрущу помог от старой гвардии избавиться. И стал завотделом. Секретарем ЦК. А там и нам уже помог. На октябрьском Пленуме доклад делал. Теперь уж никуда от него не денешься. Хотя скользкий. «Где чеченец родился, там три еврея заплакали» – это мне еще генеральный конструктор Курчатов говорил. Или генеральный конструктор Королев у нас был? Вот он, должно быть, и говорил. А откуда я его знал? По должности. Всех подробностей не припомню, пока лишь не взойду на кромку бассейна этого – «Москва».

Но точно знаю, что это я запустил первый спутник и место для космодрома на Байконуре лично выбрал. Потому что слово «Байконур» мне нравилось. Как имя казахской девушки. Четырнадцати лет. Так у меня в воспоминаниях написано, и с места уже не сдвинуть. Не фрезеровальный станок.

– А как же наши работяги? Верные, преданные члены партии?

Слово «преданные» никогда не любил. То ли нам преданные, то ли нами. Или и то и другое. Тоже мне нашелся профессор языкознания.

– Рабочий электорат...

Что еще за хреноплетень!

– Рабочий избиратель, Леонид Ильич, излишне пассивен. На результаты выборов в Верховный Совет СССР не ориентируется. Думает, все равно Брежнев будет, так чего ходить. На избирательные участки, в смысле, я имею в виду, ходить.

– А объяснить им что – невозможно? Еще два месяца осталось. Первая программа там, вторая.

– На первой и второй программах упоминание имени Сахарова запрещено. А раз нет имени – нет и проблемы. Сами понимаете, Леонид Ильич.

Ну конечно. Теперь хитрая жидочеченская сволочь сделает вид, что это я сам во всем виноват. Это ж я сказал Лапину на Главном телевидении Сахарова от греха подальше не поминать. А Суслов проклятый здесь и вовсе ни при чем, ехиднина башка.

– К тому же, Леонид Ильич, в среде рабочего класса 17 немало лимитчиков, людей без прописки. Они нам электорально вообще никак не полезны, как бы ни прискорбно это звучало.

Я понял, что сейчас захочу встать с кресла. Торжественно так захочу, как в лучшие времена.

– Значит, политика Совета Министров по кадровому замещению провалилась?!

Суслов вытянул губы в длинную гармошку. Они всегда так делают, когда не могут ни засмеяться, ни промолчать.

Да, а я Косыгину всегда говорил. Сейчас-то он помирает. То ли косою ноги себе отрезал, то ли в чью-то лопасть винта попал. Есть вместо него Колька Тихонов. Но с того что возьмешь? Колька и Колька.

Встать с кресла. Легко сказать. Когда ноги не ходят и ни на одну толком не обопрешься. Даже руку не знаешь какую вперед выбрасывать.

А у липкого Суслова помощи просить, ладонь старческую тянуть – себя не уважать. Семьдесят восемь.

– Михал Андрейч, а ведь штаб предвыборный ты у нас возглавляешь?

Ну как выкрутится.

– Формально у нас штаба нет вообще, Леонид Ильич. Есть организационно-предвыборная группа, ОПГ, совместная, Московского горкома и обкома КПСС. И возглавляете ее лично вы, Леонид Ильич.

– Лично я?

– Лично вы. По решению Политбюро.

Дотрындишься у меня, сокол горный.

– По вашему решению, утвержденному Политбюро.

Выкрутился. Да еще когда! Я ведь ни к горкому Московскому, ни к обкому ни двух копеек отношения не имею, так они меня начальником записали. Мол, если что, с Генерального секретаря и весь спрос. Как будто заранее знали, что Сахаров победит. Хотя с самого начала было три с половиной процента в мою пользу. В нашу пользу.

А может, это измена? Если чувак – нехорошее слово! – в войну на немцев работал?! Он же на все способен. Может, жена Сахарова ему валютных бонов из Америки навезла?

Я себе тут даже засмеялся, а Сулову чуть улыбнулся. Не заслужил.

– Но Сахаров где-то же выступает? Это же можно посмотреть. У нас же и видеомагнитофон есть.

Хорошая игрушка. С внуком Андрюшкой тут какую-то «Эммануэль» смотрели: я заснул, а он досмотрел до конца.

– Хочу доложить, Леонид Ильич, – теперь уж по-военному, понял подвох, сука, – через пять минут по третьей программе Сахаров как раз выступает. Интервью в передаче Познера. Если у вас есть время и желание, можем посмотреть.

Нет у нас больше, товарищ Суслов, ни времени, ни желаний. Но посмотреть – посмотрим обязательно. Вы будете смеяться, но я Познера-то этого помню. Он у меня два интервью брал. Перед Хельсинки и после Хельсинки. Его Лапин привел. И строит этот Познер весь из себя такого независимого. И пиджак у него шерстяной, полосатый, плотный, как из Парижа. А на самом деле этот Познер – холуй из холуев, видно ж. Я чуть слюной не поперхнулся, особенно после Хельсинки.

Лапин говорит, что Познер, опять же, из евреев, но одновременно как бы еще из Франции. Так в наше время бывает. Гитлер же во Франции не полный «лагерфельд» делал. Хотя Познеру не помешало б. Посмотрим, как он Сахарову облизывать будет. А Лапин что? Потерпит? А ЦК? Как дети малые, ей-богу.

Постойте, постойте. А сколько же им всем будет во время бассейна «Москва»? Вот мне – сто двадцать. А Саше Проханову? Сейчас сорок. До моих ста двадцати осталось сорок семь. Значит, восемьдесят семь? Не, не дотянет. Я вижу. Он одутловатый. У него с почками точно не в порядке. Такие бойцы больше семидесяти не живут. А могут и вовсе лет в шестьдесят концы отдать. Нет, Саша, нет.

Кто же тогда писать будет? Как они все обо мне жалеют?

Недаром говорил мне Никодим: «Леонид Ильич, убери ты этот бассейн, построй снова храм!» Но храм-то – он тоже несчастливый был. Я это точно в какой-то энциклопедии вычитал.

Хотя ни одной энциклопедии не читал, видит. Кто там видит?

А в бассейне еще никто вообще не утонул. Там первый я умру.

## Поцелуй мутанта

– Ну, Суслов, а план-то у вас есть? Как побеждать будем? Нельзя ведь, чтобы Председатель Президиума Верховного Совета выборы проиграл. В своем родном округе проиграл. Да еще кому – Сахарову... Академику, ети его в душу.

Сказать «еби его в душу» было бы не по-академически. И не академично. Леонид Ильич не очень любил, когда не академично. И так Сусллова по фамилии окликнул, да еще и на Вы. Плохой это признак. Провозвестник опалы. Вот как мы выговорить умеем.

– Одна минута до эфира, Леонид Ильич.

Опять выскользнул, горное отродье.

Да, музыка обычная. Передачу-то у Познера смотрят. Он все больше популярных приглашает. Вон, с месяц назад Пугачева была. Которая Алла Пугачева. Пухлая такая, глазастенькая. Но поет вроде ничего. Хорошо поет. Витя включила, я тоже минут двадцать застал.

А это кто, Сахаров? Академик? Да, давно я его не видел. Вот кто постарел, так уж постарел. Да он на мои годы выглядит, ты посмотри!

– Михал Андрейч, а этот с какого года?

Мусе Арсанычу не будешь объяснять, кто такой этот. Восток сам ориентируется. По Солнцу.

– С двадцать первого, Леонид Ильич.

С двадцать первого... С двадцать первого? Значит, пятьдесят восемь всего? На 15 лет меня моложе?

Не, ну трындец, реальный трындец, сказал бы Андрюшка. Ни одного волоса. Пух какой-то. И не лебяжий даже, а утиный. Седой в клочья. Такие пальто в Курске продавали, как я там землемером работал. Но пальто – это так, только чтоб по-французски назвать. Не пальто никакие, а куски меха, а то и поролон, чтоб только не так холодно. В Курске ж страшно холодно бывает, академик Сахаров и не слышал.

Ешкин кот, он же еще даже не пенсионного возраста! А голосочек-то – тоненький, дрожит, как в реанимации. И руки, кажись, подрагивают. А у меня? Вытянул на длину дистанции. Нет, не дрожат. Вообще не дрожат. Даже мундштук бы удержал. Жалко, курить бросил. Но до ста двадцати обратно начну. Вот, Витя. Что говоришь-то, истукан! Не говоришь-то ничего, а думаешь. Еще хуже.

А Познер этот, в своей фиолетовой сорочке, все не унимался. Надо сказать Лапину, чтоб запретил ему фиолетовую сорочку. А то застирает – лиловая будет. А Познер в лиловой сорочке – это уже не то совсем. Совсем не то. И вообще, у нас здесь не дом моделей. Не Слава Зайцев. А «лагерфельд» надо будет – так мы устроим.

– Скажите, Андрей Дмитриевич, – начал спрашивать этот противный фиолетовый ведущий. Будь он неладен.

Да. И со своим этим акцентом, то ли французским, то ли каким-то еще. Лапин мне говорил, что это все фуфло одно, понты. Если Познера среди ночи разбудить, да настоящим образом разбудить, он заговорит, как натуральный русак из Ярославской губернии. Это он все делает вид, что русский ему не родной. Чтобы молодых девиц в Останкине клеить. Вот так примерно.

А вот Зелимхан Яндарбиевич Суслов, который мне тут телевизор включил, все делает вид, что русский ему родной. И почти ведь получается, сука. А зачем? Он-то где девиц клеить будет? На Старой площади? Там такие партийные девицы, что не приведи Владимир Ильич Ленин. Прямо из Мавзолея.

– Скажите, Андрей Дмитриевич, ваши оппоненты упрекают вас, что фактически вы действуете в интересах Запада, так сказать заграницы, того сообщества, которое в определенных кругах именуется мировой закулисой?..

Все извилины заплел.

– Владимир Владимирович!

Во! Оказывается, Познера зовут Владимир Владимирович. Никогда бы не стал называть такого покатого хлыща по имени-отчеству.

– Я, Владимир Владимирович, ни разу в жизни за границей не был. Ни одного! У меня же секретность, видите ли, первая форма допуска. Я вхожу в число изобретателей новейших видов вооружений. Которые активно использует Советская армия. И армии братских государств используют. Меня не выпускают. Просто банально не выпускают. Не дают выездной визы. Так что дальше полигона на Новой Земле я нигде никогда не бывал. Вот вы, Владимир Владимирович, бывали на Новой Земле?

– Нет, – с барской ухмылкой, – признаться, не заезжал.

Не заезжал! Это у них такая ирония, что ли? Я Лапину скажу, чтобы Познер эту свою иронию себе. Куда поглубже.

– На Новой Земле холодно очень. Минус тридцать пять. И полярная ночь. Кто работал на северах, тот меня, конечно, поймет.

Не лезь в душу нашему народу, академик. У тебя есть свой переизбыток интеллигенции.

– А вот мой уважаемый соперник, Леонид Ильич Брежнев, был за границей 73 раза. Мы научную работу провели, все посчитали.

73 – это мой возраст. Ученые вечно так путают? Какие 73 раза? Каждый раз в год? С Днепра и Курска, получается. Так и вся обороноспособность чугунной шайкой накроется.

– Вот, смотрите. В Федеративной Республике Германии – 11 раз. Это не в нашей ГДР, это в капиталистической ФРГ, чтобы вы понимали. В Соединенных Штатах Америки – 8 раз. Во Франции – 6 раз. Вот даже зафиксировано, что в городе Париже посещали с президентом Франции Жискара д'Эстеном ресторан «Тур д'Аржан», так там ели устриц. Заказывали устриц по дюжине на человека. Вы давно ели устриц, Владимир Владимирович?

– Хочу раскрыть вам секрет – именно вам, Андрей Дмитриевич, потому что мои телезрители это давно уже знают, – я родился во Франции.

Что ж – отговорка неплохая. Хотя по смыслу глупая, как весь этот фиолетовый стилинга. Ну и что, где ты родился. Я вон на Украине. А сало в первый раз когда попробовал? По комсомольской линии разве что уже.

– Это хорошо, что вы там родились, – распалялся Андрей Дмитриевич, словно уже не генеральный секретарь, а простой телевизионщик против него на выборы шел, – но вот я, действительный член Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического труда, съел за всю мою жизнь только одну устрицу. Одну!

– И.

Познер пытался вклиниваться. Впустую. Вот не думал бы, что дрожащие академики умеют так распаляться. Да Сахаров уже кричал, просто вопил!

– Да, Владимир Владимирович, да. Как-то раз Ирен Жолио-Кюри привезла в подарок из Британии три устрицы. И мы их съели. У меня дома, на Чкалова. То есть у нас дома, на Чкалова. Одну – Ирен, вторую – моя супруга Елена Георгиевна, а третью – я. Вот и все. А Леонид Ильич – по дюжине на человека. И еще.

При чем здесь Британия?

– Андрей Дмитриевич!..

Познеру уж явно было не по себе. Что-то скажет Лапин после такой трансляции. А Серега сказать умеет. Пару раз сам слышал. Сделал вид, что не слышал, но слышал.

А Ирен Жوليو-Кюри я тоже неплохо помню. Она ж главную роль с этим играла, с Марчелло. Фамилия такая длинная, что любой Байконур легче запомнится. В фильме «Соблазненная и покинутая». Я тогда ее с фестиваля к нам на дачу отвозил. На банкет. Это при Никите еще было. Ноги, грудь, жопа – советская промышленность еще не освоила. Вот только зачем она академику устриц возила? Ладно, потом разберемся. Уже интересно стало. А то с этим Бесланом Рамзановичем на старости лет от тоски сдохнешь. И никакого тебе уже бассейна «Москва».

– Нет, Владимир Владимирович, я все-таки договорю, позвольте. Мы точно установили, что Леонид Ильич Брежнев, мой, с позволения выразиться, конкурент, даже один раз посещал Центральноафриканскую империю...

– Андрей Дмитриевич, как вы думаете, почему телезрителю это сейчас должно быть интересно?..

Фиолетовый уже чувствует лапинский хер в своей жопе. Нет, генеральный секретарь так грубо никогда публично не выражается. Но подумать-то можно было! Даже Суслов не слышит.

– Это очень интересно, Владимир Владимирович. Очень, поверьте мне. Мы с моим предвыборным штабом установили, что Леонида Ильича принимал император Жан-Бедель Бокасса. Бывший колониальный полковник, провозгласивший себя императором. И он угощал Леонида Ильича редким мясом антилоп, водящихся только в Империи. Так они это называли.

– И что же, запрещено есть мясо антилоп.

А что, разрешено, мутила?! Ты думаешь, наши люди знают, где у кого какая антилопа? Вот от таких идиотов и страдает советская власть. Жил бы себе во Франции и обжирался бы устрицами. На кой только Серега его вытащил!

– Про антилоп не знаю. Но так у Бокассы называли мясо людей. Условно. По секрету. Обычных человеческих людей, которых убивали, жарили и подавали прямо к императорскому столу. Так что Леонид Ильич имеет опыт поедания человека. Вот что я хочу сказать.

Ну, допустим, не обычных человеческих людей, а негров сраных. Ты хоть в Лумумбе-то разок бывал, академик? Понятно, за границу тебя не пускают, но Лумумба ж не за границей. Она буквально у нас, в Теплом Стане. Ты поезжай, посмотри, что это за люди. Только денег им не одалживай и в наперстки играть не сиживай. А то потом без Бокассы – так это имя? – не разберешься.

– И что, может быть, нельзя назвать моего многоуважаемого соперника в прямом смысле слова каннибалом, но прецедент каннибализма...

Да, один раз – не пидорас. Так у нас в землемерном техникуме шутили. В Курске. Перед самым комсомолом. Помню.

И главное: прецедент, блядь, ганнибализма! Это кто вообще когда поймет?! Сказал бы по-человечески: людоед Ваш Ленька, и все тут. А вы за него еще голосовать собираетесь.

Хотя они людоедов-то как раз любят. Вон, Иосиссари-оныч, типун мне на язык. Вся и беда-то моя в том, что я не по этой части. У меня все больше диетическая столовая: сметанка, сырники, творожок.

А «сыр» и «творог» по-украински – одно и то же. Вы вот не знаете – я знаю.

А говорят, не знаю я на языках совсем ничего. Брешут.

Рубашка у Познера была уже не фиолетовая. Фиолетовая стала у него рожа. А рубашка – какая-то красноватая. Будто сам лично император Центральноафриканской империи Жан-Бедель Бокасса, он же председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин вонзил в него титановые зубы.

Кровь, просто кровь.

– Леонид Ильич, может, переключим?



Это уже Суслов, здесь, на даче «Заречье-6». Он-то серый, как обычно. Розовеет только, когда говорят о бабах.

А баб у него лет двадцать не было, а то и больше. Мне Андропов докладывал. Смеялись.

– Нет, Михал Андрейч, давай оставим. Когда еще такой случай.

Познер хлебал стылую воду так, словно только что вошел в винно-коньячное похмелье. Видно, что трезвый – а как с похмелья, точно.

– Андрей Дмитриевич, а это правда, что ваш предвыборный штаб возглавляет ваша, так сказать, супруга? Жена ваша?

– Почему «так сказать»?

Сахаров, с тех пор, как обозвал меня людоедом, и ничего ему за это не стало, и телевизор по техническим причинам не вырубili, и ураган «Три устрицы» не ворвался внезапно в замороженную Москву, явно входил в раж. Да, такой чувак мог изготовить водородную бомбу. Он еще и не то мог бы, если б его хоть раз за границу выпустили. Советская власть все-таки не из одних дураков состоит. Правда, Андрей Дмитрич?

А что, если у Бокассы этого действительно ради меня белого человека зажарили? Нет, невозможно. Это ж было в 74-м. А с Никодимом я, стало быть, в 76-м познакомился. Он бы мне раскрыл тайну. Не раскрыл – значит, подавали жаркое из негра сраного. Не страшно, ей-ей. Мы им университет целый отгрохали, а они что, не могут с нами в антилопу сыграть?

– Действительно, моя жена, Елена Георгиевна Бон-нэр, работает руководителем моего избирательного штаба. А почему вас это интересует?

К Познеру, после полного офиолетования, вернулась способность ухмыляться. Быстро! Лапин, видать, зря не держит.

– Не меня это беспокоит, Андрей Дмитриевич, но наших телезрителей. Вот телезрительница Прасковья Абрамовна Чхартисвили из Кунцевского района, улица Василисы Кожиной, спрашивает: нет ли здесь кумовства, семейственности? Как бы Вы ответили?

Советский Союз таких людей наплодил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Прасковья, да еще и Абрамовна, и в подарок Чхартисвили. А Василиса Кожина – это кто? Ткачиха, небось, камвольная?

– Михал Андрейч! А Василиса Кожина – это кто?

– Партизанка, Леонид Ильич. Времен Первой мировой войны.

А, ну ладно. Хотя в Первую мировую разве ж были партизаны? Откуда? За царизм кто-то партизанить бы пошел? Из наших, русских? Чой-то не то. Я свой экзамен в Курском землеустроительном хорошо помню. Как дежурного охранника зовут – так не всегда помню. А экзамен. Ну, что Сахаров?

– Видите ли, в чем дело.

«Видите ли» – это у академика слово-паразит. Или слова-паразиты, их же двое. Надо ему подсказать.

– В отличие от моего уважаемого оппонента, Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС.

– Андрей Дмитриевич, простите, но вопрос был не про Леонида Ильича, а про Вашу супругу.

Познер повышает голос. Стало быть, уже два лапин-ских хера в напмаженной жопе.

– А я так и отвечаю, Владимир Владимирович. У меня нет возможности использовать для нужд избирательной кампании служебные помещения. Потому весь штаб располагается у нас дома, в квартире на улице Чкалова. А кто же квартирой заведует, как не жена? Вот Елена Георгиевна и любезно согласилась. А помогают мне сотни людей, тысячи. Из ФИАна, из науки, из культуры, из образования. Они все и есть мой штаб, и начальники им не особо нужны.

Никогда не знал, что значит ФИАН. Да и хрен с ним. Красивое слово, пусть и будет таким. А вот жену Сахарова видел. Да-да, даже помню, как и где. В Кремле, в Георгиевском зале. Где же еще.

На приеме в честь 55-летия советской власти. Великой Октябрьской социалистической революции. Это еще называется – 55-летие Октября. В Москве тогда проспект так называли. Да и не только в Москве. Я сам просил.

7 ноября 1972 года.

Трижды Герой Соцтруда Сахаров был тогда еще не полный диссидент, и на приемы наши его приглашали.

Стою, смотрю.

Что-то идет.

Самое именно, что что-то.

Вроде как и баба. Сиськи навывкате, как полагается. Больше размер, чем в Днепродзержинске по первому разряду в ресторане, у официантки.

А с другой стороны, ты понимаешь. И усы как будто, и борода. Ей-ей. Это таких ученых теперь у нас на полигонах делают, что ли? Я вот слышал слово «мутант». Меня Андрюшка, внук, научил. Все дергает за рукав: пойдём, дед, кино про мутантов посмотреть. А деду бы небуталь-чику... И на боковую.

Но раз уже мутантов на кремлевский прием приглашают, значит, надо смотреть. А то еще завтра вампиров пригласят. Вурдалаков в смысле. Я записку Музея народов Востока читал. Вампиры – это у них, в странах НАТО. А у нас – вурдалаки. И на Украине еще – вовкулаки. И все разное, разное, вы не думайте. И механизмы, и функции разные. Не все так просто. При развитом социализме – это одно. Санитар общества. Отворит несвежей крови – и как-то уже легче дышать. А там. Там совсем другая петрушка. Там, бывает, какой сенатор или конгрессмен так на тебя смотрит, что глаз совершенно красный, и рот сам губкой тянется. Неспроста все это. Я в Америке на переговорах восемь раз был, тут не подвел академик. Никсон, Киссинджер, Форд – эти все нормальные. И Картер даже нормальный. А посмотришь на какого-нибудь Никеля Одеона. Так этого урода зовут? Или его Лешек Бжезинский зовут, сразу по-польски, чтобы нас, знаешь ли, оскорбить? Мол, была у вас Польша. А что? Она у нас и теперь есть. Ну, не входит в состав. И? Да, формально не входит. А по содержанию? Если мы через СЭВ помогать перестанем, где у них эта Польша будет. Вон, болгары давно в состав просятся. Живков каждый раз в Ореанду приехать норовит. А нам болгары, зачем? Нет, мы их любим невшибенно, спору нет. Но все равно – незачем. Курица не птица, зато мы знаем, чем гордиться, – так у нас курские землемеры поговаривали. И столько земли намеряли, столько. И так жестко и твердо намеряли. Такими вон линейками и циркулями, тью. Теперь обратно не распишешь, как пулечку в преферансе. Терпеть и забыть, забыть и терпеть.

Но если, действительно, начнут приглашать в Георгиевский зал справжных вовкулаков, то они ж могут и члена Политбюро укусить, и даже Генерального секретаря. И что тогда делать? На стенку вешаться? А в такую Георгиевскую стенку и гвоздь не вобьешь, чтоб повеситься, и веревку не приладишь.

В общем, мутант этот, как Андрюшка говорит, меня зачем-то не порадовал. Я хоть и не больно-то молодой, но не люблю женщин с усами и бородами. Особо же, если не на сцене. Хотя я помню, однажды смешно было.

Никсон повел на мюзикл, на Бродвей ихний. Как называлось – хоть убей. Слишком смеялись громко. И Кириленко, дурило, громче всех. Как будто понимал чего про это дело. Зря его в делегацию взяли. Сейчас-то болеет, а тогда. Хороший все-таки Никсон мужик был, Царствие ему небесное. А автора вот помню как на ять – Стравинский. Наш, Стравинский. Советского происхождения. При Ленине еще уехал, мир посмотреть, себя показать. Его,

кажется, потом на Новодевичьем похоронили. Катя Фурцева очень хлопотала. Они вроде в юности дружили. Друзьями были. А может, и любовники. Катя-то всегда слаба на передок была. Ну, должно быть, Стравинский.

Так вот у этого Стравинского самая сексапильная героиня была – баба-турчанка. Но с закрытым лицом. Точно помню. Как сейчас. А в конце мюзикла сняли с нее платок – так там борода. Причем окладистая такая, как у ректора МГУ. А не жиденькая, как у этой бабы-мутанта. Но мы ж турчанку на кремлевские-то приемы не приглашали. А тут.

И прямо наперерез мне в этот самый момент спешит академик Сахаров. Да-да, он самый.

Я ж его знал к тому времени. Мы с генеральным конструктором все вместе встречались. Вот только не вспомню, с каким. Курчатовым что ли, или Королевым. И на Байконур ездили. К девочке казахской, 14-ти лет. Там еще брусника росла. Я такой брусники и в Завидове не находил, честное слово. Можно было сказать «в Завидове не видывал», но какой-то каламбур бы получился, остроумная шутка. Хоть и не слышит никто.

И бежит, значит, академик Сахаров. Андрей Дмитрич, как мы теперь понимаем. Разгоряченный весь из себя бежит. Хотя такие люди не горячают, мы знаем. Разве что пару капель пота в солнечный день.

И говорит.

– Так вы познакомьтесь, – говорит, – это жена моя новая, Елена Георгиевна.

Мутант, стало быть, жена. Елена Георгиевна.

А вот у меня жена – совсем не мутант. Пожилая баба, под шестьдесят, но нормальная. Без бороды, без усов. Но еще не все знают, что она еврейка. Как мутант. В смысле, выглядит-то не как мутант, но и вправду еврейка. Виктория Пинхасовна Гиршфельд. Или Гольдшмидт, я уж по случаю приема и забывать стал.

Я все воображал себе такую сцену. Выступаю с трибуны ООН. На Генеральной ассамблее. Ну, сейчас бы выступать не стал. Ноги не ходят совсем. Пока дойдешь из зала до трибуны, бассейн «Москва» весь выкипит на морозе. А лет пять-шесть назад мог. И уж тем более тогда мог бы, когда 50-летие Октября. И взошел бы я на трибуну и произнес.

– Советский народ, понимаете, господа (или лучше «дамы и господа»? – не поймешь; там дамы есть или одни господа, даже если дамы), спас, между прочим, евреев от нацистского уничтожения. Вот моя супруга, Виктория Пинхасовна Гольдшмидт, урожденная Гиршфельд.

И сразу – страшный грохот. Это – генсек ООН Курт Вальдхайм со своего места упал. Прямо в обморок упал. Он же нацист был. Мне Громыко рассказывал, смеялись. Биографию-то всю свою Вальдхайм придумал, подделал. Мол, только год отвоевал, а потом по госпиталям маялся. А на самом деле – до самого сорок пятого оттрубил. Против нас еще в Саксонии воевал. Или в Силезии. Я вечно путаю. Есть разница – Саксония или Силезия? Или это вообще Померания? Слово-то еще какое злое – Померания. Вот там, небось, вампиры живут кучно и блоко-во. А Моравия где? Так вот. Воевал до последнего. Два железных креста получил. Говорят, даже фюрер его по имени помнил. А потом миротворцем сделался – и в ООН. Нет, не фюрер. Фюрер миротворцем не сделался. Вальдхайм.

Мы на Политбюро Громыке сказали, чтоб Вальдхайму объяснил: не надо, во-первых, с Израилем носиться, как с писаной торбой, и еще не следует, во-вторых, Советский Союз обижать. Вот если во-первых и во-вторых, тогда о нацистском прошлом – не помним. А если не во-первых и тем больше не во-вторых. Ну, Куртец, не обессудь.

Так что загремит генсек ООН со всем грохотом, и целая Генеральная ассамблея вскочит посмотреть, не случился ли со стариной Куртом удар. А удара с ним не случилось. Ему просто Ленка Брежнев объяснил, что есть такая Виктория Пинхасовна Гольдшмидт, из Белгорода, 1908 года рождения. Городская таки, не деревенская. Вот и всех делов.

Никите-то легко было ботинком по трибуне стучать. Попробовал бы он нациста Курта Вальдхайма в обморок обвалить. На Никиту посмотрел бы, не на карту. Тьфу, черт, не на Курта. На Курта много раз смотрел и ничего такого в нем не нашел. Ну, генсек – и генсек. Не такой, как у нас. Совсем без полномочий. Только щеки надувать и ездить куда-нибудь в Бирму. Уговаривать за исчезающие народы.

Я, кстати, и в Бирме бывал. Академик тут чой-то момент упустил. Правда, один раз всего. А не шесть, как во Франции. И ели там не антилоп императора, а филе карликовых лягушек. Даже посвежее было. Или будет. Никогда не ясно, было оно или будет, вот ведь что.

– Я не новая жена. Я просто жена.

Она что, обиделась? С усами, бородами, – и обижается, что новой назвали. Я б не назвал. У меня вон всю жизнь одна жена. Как новая. Виктория Пинхасовна, не побоюсь этого слова.

– Елена Георгиевна.

– Леонид Ильич.

И улыбнулся все-таки.

Нет, если б она сказала по-человечески, Лена там или Елена. Но что ж – она мне «Елена Георгиевна», а я стану Леной аттестоваться. Или, хуже того, Ленкой. Несolidно. Не по протоколу, как говорят.

И вдруг – что-то странное. Мутант целоваться полез. Но по Фиделю я знал: борода, когда целуешься, не колючая. Она мягкая. Это щетина колючая. А может, у Елены Георгиевны – щетина?

Тут-то и сказать бы, что у меня тоже жена еврейка, и имя-отчество полное привести. И фамилию девичью. Но не сообразил как-то, не сориентировался. А волос мутанта уже остался на правой щеке.

И как-то даже не по себе стало. Если мутант поцелует – может же что-то на лице вырасти? Полип какой или гриб? Нет, с этим шутки плохи, в сторону их.

Я быстро пожал академику руку и пошел приветствовать монгольских товарищей.

Я не любил Сахарова. И только тогда понял, за что.

За то, что он мой враг.

К сорока годам он был трижды Герой Социалистического Труда. И третью звезду я ему сам на пиджак прищипандоривал, когда впервые Председателем Президиума работал.

А мне только к 55 – первую дали. Мне, который Малую Землю отстоял и Целину поднимал.

Никита любил этих ученых больше, чем друзей своих. Потому его и сняли.

А потом наступил семьдесят пятый год. Я сделал Хельсинкские соглашения. Чтобы все признали все границы в Европе. Никаких больше войн в Европе, никогда. 1 августа. ФРГ ГДР признала, а вы говорите. И конечно, мне должны были дать награду. Но не нашу советскую, обычную, а такую, чтобы никто уж не усомнился.

Нобелевскую премию мира.

Я заслужил. Семьдесят пятый год. Никаких никогда войн, и одна только безопасность и сотрудничество в Европе.

Я уверен был, что мне премию дадут. Ну вот просто уверен. Ни в чем не уверен. И что спутник полетит – не уверен. И что девочка Байконур должна быть 14-ти лет от роду. А здесь – знал. Ведь никто ничего лучше Хельсинкских соглашений за многие годы не делал. Я сделал. И самому мне скоро было бы 70 лет. И стало потом.

А премию дали в тот год Сахарову. В тот самый верняк-год. За книжонку какую-то, которую заголовка и не упомянуть уже. Что-то про прогресс и мирное сосуществование. Мне – за Хельсинкский акт не дали, а он огреб – за книжонку. На двадцать килограмм таких

книжонок можно один том «Тридцать лет спустя» прикупить. Так сейчас мы делаем, чтобы леса не выкорчевывать. Они же не растут у нас потом. За макулатуру.

Ну, справедливо? Как по мне – нет. Я не жаловался. Но несправедливо же, все равно.

И вот теперь проигрываю этому Сахарову восемь целых и семь десятых. У себя в округе, на Москве. Четырежды побеждал, и на тебе. Раньше, правда, академик не баллотировался. Все премии ждал.

Нобелевскую премию мира за мой семьдесят пятый год дали человеку, который такую штуку придумал. Поставить у Америки глубинные сверхбомбы. И взорвать прямо под Нью-Йорком. Под побережьем. А тогда – цунами. И сносит весь этот Нью-Йорк на хрен вместе с Вашингтоном.

15 миллионов трупов.

Вот это академик Сахаров выдумал, и ему за то – Нобелевскую премию мира. А не мне за Хельсинкское совещание.

Да что там 15 миллионов! Музей современного искусства бы смыло. На шестой улице. И никогда мой внук Андрюшка уже не зашел бы в этот музей. А где б мы другой взяли?

Там на четвертом этаже, у самого лифта, такая картина, словно бы я сам в раскаленный кузнечный цех зашел, Днепровского завода. Я даже прослезился. А Суслов закашлялся. И Катя все стояла замороженная. Я и художника запомнил: Бекон. Как свинина, только с ударением на первом слове. Бэкон. Спросил я, нельзя ли купить для нашего Пушкинского. Можно и в Эрмитаж, но с моими ногами в Ленинград разве доедешься. Можно ли? Нельзя.

Вот почему Сахаров, Андрей Дмитрич, и есть самый настоящий враг.

Ты, конечно, скажешь, что он только придумывал, а на самом деле ничего-то и не взрывали. И 15 миллионов, и музей – все на месте. И внука Андрюшку можно скоро туда спроводить, как в комсомол вступит.

А я, я, который первое августа, – я разве чего придумывал? Вообще? Только Никиту убить. Но и то отказался. Пожалел я Никиту. А Сахаров ни от чего не отказывался. Просто приказа не получил.

Вот за это они и дают самую главную премию мира. Бесы, натуральные бесы.

Кажись, заканчивают.

– Скажите, Андрей Дмитриевич, если бы Вы на улицах Москвы встретили Бога, о чем бы Вы его попросили?

Он разве верит в Бога?

– Я сказал бы ему. Уважаемый Господь Бог, пожалуйста, объясните Леониду Ильичу Брежневу.

– Ну, снова-здорово.

Так Познер попытался зафамильярничать, чтобы его Лапин потом не совсем уж в жопу затрахал. Это я молча, про себя, даже Суслов не слышит.

– Что бы я Вас ни спросил, Вы все на Леонида Ильича...

– Простите, Владимир Владимирович, можно, я договорю. Я сказал бы. Уважаемый Господь Бог, объясните Леониду Ильичу, пожалуйста, что нельзя совмещать прямо все руководящие должности. Что если генеральный секретарь ЦК КПСС – понятно нам. Но зачем еще председателем президиума Верховного Совета СССР? Не надо так много должностей. Непродуктивно. Особенно в пенсионном возрасте.

Познер лукаво забродил залысынами.

– Вот Вы же, Андрей Дмитриевич, физик, как Вы сказали, действительный член Академии наук. И Вас не смущает перспектива встретить на улицах Москвы Бога? Вы разве можете считать, что Бог есть?

– Я не могу исключать никаких возможностей ради демократизации моей страны.

Заканчивается. Вырубает.

– Что, Михал Андрейч, может, надо было в Торжке баллотироваться. Торжокские товарищи бы не подвели.

Или торжковые товарищи? Как правильно: торжокские или торжковые?

Это я типа так пошутил. Проклятая Москва. Вот где цунами устроить. Воды только в реке не хватит. Даже со всеми бомбами академика Сахарова. Хотя, с другой стороны, Москва же – порт пяти морей. Это Иосиф Виссарионыч придумал. Когда выйду из бассейна, спрошу его, что он имел в виду.

– У нас есть план победы, Леонид Ильич. Точнее сказать, это Устинова и Андропова план.

А почему он Устинова первым называет? Не верит, что Андропов – преемник? Хитрые люди эти русские чеченского происхождения.

Андропов-то почему преемник. Я сейчас расскажу. Самому себе, пока никто не слышит. Как-то раз нажрались мы вусмерть с Киссинджером. В каком-то отеле в Вашингтоне, на букву дубль вэ. Хотя убей не помню, у меня ведь короткая память. Номер карабина своего – помню, а на дубль вэ – ни черта. Хотя в этом дубль вэ люди впервые научились взятки брать. Такая легенда есть. Никсон рассказывал. А я Никсону рассказывал, что у нас в СССР взятки вообще не берут. Хотя через дубль вэ, хоть через дупло совиное. Смеялся он. Не поверил.

Было это крошечной осенью, кажется, в ноябре. Семьдесят третьего года. О! 1973-го. Хотя это только у нас осень крошечная. А у них в Вашингтоне – мягкая такая, как бабье лето. Вся осень как бабье лето, даже ноябрь. Или сентябрь как просто лето, а ноябрь – как бабье. Я точно знаю, я там 11 раз побывал. Или восемь. 11 – это в ФРГ, а в Штатах – восемь. Нам же академик Сахаров подсказал. А нажрались потому, что виски жрали. Когда водку – я свою норму знаю. До двухсот – нормально, потом до пол-литра – мелкими, а с пол-литра уже на воду. А этот виски – ни черта не поймешь. Да еще льда в стакане полно, не поймешь, то ли поило это вазелиновое, то ли лед живой. Вот и ухандокался ваш Генеральный секретарь, товарищи, ЦК КПСС.

Тут-то Киссинджер момент поймал и говорит мне.

– Ты, Леонид, – говорит, а они, он и Никсон, со мной всегда на «ты», и я с ними был на «ты», хотя переводчик Суходрев объяснял, что в английском языке слова «ты» нет, не положено, – когда начнешь задумываться о преемнике, выбирай лучше еврея. Еврей, вопервых, не подведет. А во-вторых, ему легче будет с нами договориться.

С вами это с кем – с евреями или с американцами? Пьяный-пьяный, а дело свое волоку нормально.

– А разве ж в Политбюро есть евреи?! – удивляюсь.

Я-то думал, он скажет, а почему обязательно преемник из Политбюро и так далее. А он так твердо слишком – для после полбутылки виски литровой – посмотрел мне в глаза и сказал очень серьезно:

– В Политбюро есть евреи.

И замолчал минуты на полторы.

Меня так и подмывало рассказать про Викторину Пинхасовну Гольдшмидт. Но по пьяной части решил не делать. До утра подождать. А следующим вашингтонским утром того крошечного ноября, всего похожего на бабье лето, – расхотелось.

Кстати, сын мой Юрка – еврей. Раз по матери – значит, еврей. Мне так объясняли. Очень знающие люди. Раввины из синагоги, что на задах Московского обкома. Вот я Юрку мог бы тогда в ЦК ввести, а лет через пять, – в Политбюро, ну и...

Нет, так нельзя. Так даже Иосиф Виссарионыч не делал. И мне товарищи скажут: Иосиф Виссарионыч не сделал, а ты-то, Леня, куда же.

Нет, они так не скажут. Они промолвят. Иосиф Виссарионович не захотел, а Вы, Леонид Ильич.

Нет ли здесь кумовства, семейственности, а? Вы бы как прокомментировали?  
То-то же.

Но когда я вернулся в Москву, пролетев 12 часов в одном самолете, да еще с заправкой в Полуирландии, в этом дурацком Гандере-Шмандере, я сообразил, в чем речь.

Еврей в Политбюро – это Андропов. Его мать – Евгения Карловна Файнштейн. Я сам в личном деле видел. Своими глазами.

Значит, они хотят Андропова? А почему? А почему мне самому не хотеть бы Андропова. Чувак надежный. Лады, пусть будет, как Андрюшка говорит. КГБ мне отстроил. В просьбах отказа никогда нет. Очки. На интеллигентного похож. И с писателем этим все правильно сделал. А не как Суслов, который предлагал в Дубай-Шали на исправительные работы отправить. Типа «ссылка на Кавказ». Чечены, чечены.

И молодой. Тогда, в 73-м, когда мы с Киссинджером лаптем виски хлебали, Юре еще и 60-ти не было. А было – как Сахарову сейчас или около.

Я думал год. А потом передал Андропову: будешь хорошо себя вести, надейся. Я тебя поддержу.

И поддержу. В самом деле.

Хотя Черненко против, и Колька Тихонов против, и Колька Щелоков. Ну да что они понимают?

А Суслов?

– Есть план Андропова и Устинова. Юрия Владимировича и Дмитрий Федоровича.

Надо же, сообразил. Переставил.

– А эти-то здесь при чем? Они что, в штаб входят?

– Штаба, Леонид Ильич, как я Вам докладывал, у нас нет. Это у той стороны – штаб во главе с Боннэр.

С усатым мутантом, значит.

– А у нас – ОПГ. Организационно-подготовительная группа. Совместная. Московского горкома и обкома КПСС.

– Бог с ним.

Не только академик-физик может встретить на улицах Москвы Господа моего.

– И в чем план у них?

– К советскому руководству официально обратился братский народ Афганистана. Демократической республики Афганистан. Просит ввести ограниченный контингент советских войск для наведения порядка и предотвращения капиталистического реванша.

– А где обращение?

– В письме. На имя Ваше, Андропова, Устинова и еще Громыко. Зарегистрировано в секретариате. Секретное.

Хорошо, хоть не на Суслова. А почему на четверых письмо? Я и генсек, и Председатель Президиума. Пока Сахаров меня вперед тапочками не вынес. Надо было на одного меня писать. Растяпы. А теперь хоть секретное, все Политбюро уже знает.

– И что же? Они просят войска вводить?

– Именно так. Вводить.

– А выборы здесь при чем? Ты меня нынче окончательно путаешь, Михал Андрейч.

– Выборы при том. Все продумано, Леонид Ильич. Как только ограниченный контингент прибудет в Кабул – столица этого Афганистана, что ли? Никто их там не разберет!

– Андрей Сахаров сделает жесткие заявления против советской власти. Прямо порочащие советский строй. Жена Боннэр ему напишет, а он озвучит. Мы его арестуем по 198-й. И снимем с выборов через суд. Вот такой план.

Леонид Ильич откровенно зевнул.

– Я, пожалуй, с Любкой, сестрой, посоветуюсь. У нее хорошая чуйка на всякий там ввод войск. Днями решим.

Нет. Леонид Ильич не хотел идти войной в Афганистан. И сажать Сахарова не хотел, хотя тот и сволочь. Премию мою за подводные цунами скоммуниздил. Одной Чехословакии и так достаточно. А там еще Польша, того гляди, маячит. Премия же мира – она одна на всех. Мы за ценой не постоим.

Настоящая, Нобелевская, а не какая-то там Международная Ленинская. Этих ленинских я себе сам штук восемь выписать могу, и еще на складе останется.

Ну что – пошутить над Сусловым или так поедем?

– Михал Андрейч! А ведь если я пролечу, как фанера над Конотопом, партия же в Верховном Совете все равно большинство получит?

– Получит, Леонид Ильич.

И не сказал даже, какое. 70 процентов или 80. Боится. Мол, ты, Леня, в своем округе избраться даже не можешь, перед каким-то Сахаровым пасуешь, а партия твоя проигрывать совершенно и не собирается. Вот такая у нас партия. На века лепили.

У Суслова задрожали морщины, как бывало всегда в предвкушении кровавого вопроса.

– И тогда, как думаешь, кого партия делегирует на председателя президиума?

Ха-ха. Вот и поймали мы тебя. Что смотришь глазками красными? Сам, небось, хотел бы стать? Признайся, а? Или Андропова поставить, чтобы в преемника уже встал. А на КГБ – Цвигуна. Ну?

– Я думаю, Леонид Ильич, никакую кандидатуру, кроме Вашей, партия рассматривать не будет. Вы останетесь Председателем Президиума.

– Точно?

– Точно.

Правильный ответ. Расслабляйся.

Сегодня вся Москва уже посмотрела эту передачу Познера, и разрыв стал процентов десять, а то и двенадцать. А не восемь и семь. Ну, вот как пить дать. Такой разрыв уже не покроешь.

Леонид Ильич нажал на кнопку.

Генерал Рябенко, который прикрепленный, поднял меня с кресла. Раньше-то, во времена виски с Киссинджером, и сам мог подняться. А сейчас ноги вовсе почти не работают. И пятки вечно болят. Ибупрофен даже не помогает.

– Поедем к Алексей Максимычу. Съездим.

Рябенко-то хорошо знает, что это, где это – Алексей Максимыч. А Суслов? Интересно, слухи ходят?



## Клиническая смерть

Клиническая смерть случается не у каждого. Но у меня, у меня-то – как раз была.

А как происходит клиническая смерть? Сейчас расскажу.

Это так.

Заходишь в холщовой рубахе и каких-то штанах войлочных. В комнату. Квадратную. Светлую-светлую. Как небо над Ала-Тоо.

И там посредине – стол. Тоже квадратный. Зеленый и деревянный. А за столом – Никита Сергеич Хрущев.

– Никита Сергеич, ты-то что здесь? – говоришь радостно и удивляешься: почему так просто с начальником на «ты» перешел. Как будто Киссинджер или Никсон какой.

– Ты не бойся, Леонид Ильич, – отвечает Никита, словно у меня поджилки трясутся. А настроение у меня как раз хорошее. Даже очень. Разве что смеяться не хочется. Громко, в голос. То есть смеяться-то хочется, и громко, и в голос, но чтобы в такой светлой комнате... Неудобно.

– Ты, Леонид Ильич, только не присаживайся, пока не расскажешь, – продолжает Никита.

– А что рассказывать, Никита Сергеич?

– Как вы меня убить пытались.

– Да кто ж мы-то?

– Да вы с Подгорным и Семичастным. Они-то все уже сознались, теперь твоя очередь. И говорит тихо, по-доброму, ласково. А не орет, как при жизни всегда орал.

– Не верю, – отвечаю я, – чтоб Подгорный и Семичастный на себя такую напраслину возвели. Разве ж их пытали? Это все Петька Шелест клеветает. За то, что я его снял. А как было не снять? Вы знаете, что он по Украине спецпоездом разъезжал, так там у него отдельный вагон для коровы был. И ездила всегда одна и та же корова, от которой он только молоко и пил. Представляете – корова целый вагон занимала! А люди еще голодомор помнили. И.

– Петька тот еще жук, но здесь ни при делах. Говори, говори.

– Про убийство?

– Про убийство.

– Да как же тебя можно было убить? Тормоза подпилить или самолет протаранить.

– Нет. Ты знаешь, как. Я не шучу: Подгорный и Семичастный уже признались. Письменно. А я тебя всего устно прошу.

– А ты мне скажи, что они там, и я повторю.

– Слово в слово?

– Слово в слово.

– Зуб коммуниста даешь?

– Зуб коммуниста.

– Вы отравить меня хотели. Смертельный раствор водки с тазепамом. Водка «Зверская» от горно-алтайских товарищей. Принимаешь сто грамм – и тяжелый инсульт. Хуже, чем у Фролки Козлова. Ты – исполняющий обязанности. Ну и пошло, поехало.

Почему он не орет? Почему?

– А как бы мы тебя, Никита Сергеич, выпить заставили?

– Через охрану. Там Семичастный ситуацию держал.

– И что ты один бы стал пить?

– Вы так придумали. Попробовать водку от горноалтайских товарищей. Чистейшую, родниковую. Специальная бутылка, только для товарища Хрущева.

– А чего же не тормоза, не самолет?

– Семичастный сказал: водка с тазепамом – самое простое.

– Ну а Подгорный-то нам зачем? Я все придумал, Семичастный исполнил. Подгорный зачем?

– А ты испугался, братец. Подельника решил взять. И взял. А потом его на Верховный Совет вместо Анастаса посадил.

– Думаете, не стоило?

– Мы ж на «ты», как Никсон с Киссинджером. Думаю, не стоило. Но это скажут Суслов с Андроповым.

– Почему они?

– Суслов – генеральным секретарем идет, Андропов – председателем президиума. Для Подгорного места нет уже. Ты разве не знаешь?

– Нет еще. Я же к вам... то есть к тебе торопился. Коридор слишком длинный. Узкий. И холодно в нем. Не топят. В такой холодине никакая радиоточка не сработает.

– Так ты устно все подтвердил?

– Все подтвердил.

– Хорошо. Я тебя надолго не задержу. Пойдем сейчас сходим к товарищу Сталину, и все насовсем.

– Куда?

– К товарищу Сталину. Иосифу Виссарионычу. В комнату 101.

– А зачем?

– Чтобы он решил. Что с тобой делать, дитя неразумное.

– Разве он решает?

– Иосиф Виссарионыч решает. Только что утвердил Суслова на генерального секретаря, Андропова – на председателя президиума. И тебя попросил привести. Я и привел.

Хорошее настроение сменилось отчего-то на не очень.

– Суслов же старый, и чеченец к тому же.

– Не говори плохих слов. Про тебя же я не говорю. Михаил Андреевич Суслов чеченцем быть не может. Так товарищ Сталин сказал.

И комната стала уже совсем светлую, что даже невыносимо. И глаза заслезились, как на фильме «Белорусский вокзал».

Вот ты и просыпаешься. И там – три человека.

Мужичок в белом – это Чазов, понятно, по очертаниям.

Девочка в белом – медсестра, она капельницу ставит.

А вот же сидит мужик в зимнем пальто и шапке. Прямо у постели больного в такой одежде сидит! Как это может быть? Как его пропустили? Охрана-то где? Бациллы одни, бактерии зимние, гибель кругом.

А теперь вижу, когда меньше сливается и расплывается, что человек в белом – не Чазов будет, а профессор Лившиц, молодой, который невропатолог. Чазова, стало быть, сейчас нету. Он не круглосуточно дежурит при клинической смерти генерального секретаря, потому что ленивый.

Сестра – Таня, как и полагается.

А мужик в пальто – и не в пальто совсем. Это ряса. Значит, мужик – поп. Священник, как это в энциклопедии называется. Священнослужитель, если по-полному. Длинно, зато красиво. И шапка на нем действительная поповская, но не зимняя. Легкая, простая, с крестом на самом верху, у бортика. Они мне настоящего попа привели. Того только, которого и не хватало.

А поп не должен снимать свою крестную шапку, когда входит к Генеральному секретарю?

Ну, профессора Лившица я знаю, Таню тоже, здороваться смысла нет. А со священнослужителем как?

– Леонид Ильич, – замялся Лившиц, – это к Вам священник... э-э-э... товарищ Никодим.

Он не знал, как правильно называть попу.

Я чуть не улыбнулся.

И повернувшись к попу:

– А Вас, Никодим, как величать по имени-отчеству?

– От рождения я Борис Георгиевич, – обаятельно заиграл лицом священнослужитель. Но в Церкви я – митрополит Никодим. И в паспорте себе такое же имя поставил. Так что называйте, если можете, – владыка Никодим.

– Владыка Никодим?

– Да, владыка. Так полагается. Я митрополит, постоянный член Священного синода. А «владыка» с епископа начинается.

Когда-то Леонид Ильич все это помнил. Но давнодавно позабыл.

Да и как может владыка начинаться с епископа. Это что-то не то.

«Владыка» – тоже мне. Сами назовут себя, так потом и не расхлебают. Вот я, Ленка, настоящий владыка. Над половиной мира, не меньше. И если. Нет, столицу Лаоса сейчас никак не вспомню. Но если в Ханое меня поминают, в Луанде – аукается.

Хотя – вот ведь, а еще говорят, память короткая – вспомнил и самого владыку. Они на 60 лет Октября с патриархом Пименом поздравлять приходили. Вместе. Только постарел что-то наш Никодим. Грузный стал совершенно, и мешки под глазами страшные. Чудовищные, как перезревшие сливы. У нас слива росла рядом с голубятней, на проспекте Ленина. Потом срубили ее, чтобы детскую площадку обустроить. Хотел спросить у профессора Лившица, знает ли он анекдот про «проспект Лёнина». Единственный днепродзержинский анекдот. Не стал. Человек не тот.

Не засмеется, и будет печально.

Или засмеется неискренне, и появится стыдно.

– Леонид Ильич, – отозвался из глубины раздвоения белый Лившиц, – мы с Танечкой отойдем ненадолго. Вам бы надо с владыкой Никодимом немного переговорить. Правда?

Усвоил, как того звать-величать. 39 лет, а уже профессор. Восходящая звезда нервных болезней, как говорит Чазов. Но что 39? Сахаров в 32 уже академиком был. Действительным членом. А я в 39, потому как настоящего генерал-майора присвоили, нес свое знамя на Параде Победы. И неизвестно еще, что лучше. Ибо было мне – 38.

Говорят, Суслов хлопчет, чтоб его сыну генерала дали. Револю Михайловичу. Который, небось, и не знает, что не случись вся та заварушка с евреями, быть ему Исою Сулимовичем, где-нибудь в селении Долбай-Юрт.

Хрен им. Пусть Иса Сулимович, он же Революй Михалыч, в своем их Орангутанге повоюет. Там, откуда письмо прислали. А по письму мы его генерал-майором и сделаем. Не жадные ж.

Они удалились. Можно было б подумать проще, но не так уж зато красиво.

– Ну, скажите, владыка Никодим, что это тут со мной приключилось?

Я только заметил, что даже ворочаться мне больно. И все это происходит не на даче «Заречье-6». Нет. А в больнице нашей. В ЦКБ. Но не в такой палате, как обычно, а в другой какой-то. С кучей всяческих проводов и датчиков. И кнопкой – красной, огромной, как Солнце над Ореандой в лунную ночь. Должно быть, чтобы Чазова вызывать. Или Лившица. И решать: идти мне к Иосиссарионичу в комнату 101 или можно потом.

И окна здесь замороженные, как вся Россия. Как весь Советский Союз без южных республик. Без Туркмении там, Молдавии, Грузии. Я бы сказал, как минтай в «Океане», но неискренне получилось бы. Какой минтай, какой «Океан»!

– Клиническая смерть, Леонид Ильич. Пять дней.

Это отвечал Никодим.

– Клиническая смерть? Да, интересно говоришь, владыка.

Тут-то я заметил, что язык еле ворочается. Мой язык, понятно. Никодим может и не разбирать, что говорю. Из вежливости кивает только. Или не кивает. И не из вежливости.

– А я вот думал, клиническая – это когда человек в больнице помирает, то есть в клинике. А если принять поллитру, а лучше ноль семьдесят пять, и примоститься на лавочке в сквере, особенно, когда февраль, а дело – Курск или Днепродзержинск, – выговаривать-то «Днепродзержинск» ясно уже не получается, владыка еще чай, обидеться может – и под утро околел, потому что проходил участковый и подумал – вот, алкашня всякая по скверам валяется, и бабушка еще в шесть утра проходила и последний трояк из кармана вытащила, а после поллитры и незаметно, а после ноль семиста пятидесяти вообще ничего не чувствуешь – вот тогда смерть обычная, неклиническая. Не так?

Поп не успел ответить. А может и не хотел он отвечать, священнослужитель этот.

– Народ-то наш русский все больше обычную смерть предпочитает. Простую. А мы ему все клиническую навязываем. Вот такое ЦКБ отгрохали!

Попробовал поднять руки. Или, как любят говорить в народе, всплеснуть руками. Тут только и понял, как все болит. Как после ранения. Или когда из воды вытаскивали, на Малой Земле.

Много оно всего в жизни случится, пока до ЦКБ доедешь.

– А почему Патриарх не приехал?

Действительно. Я же первое лицо. И церковь должна присылать ко мне свое первое лицо. На кремлевских приемах Патриарх всегда тут как тут. И от правильной рюмочки никогда не откажется, и от двух-трех. Пимен, как и позволено. То есть, я хотел подумать, Пимен, как и положен.

– Святейший пять дней подряд молился за Вас, Леонид Ильич. Почти круглосуточно. 16 часов в день. В Патриаршем Соборе Богоявления в Елохове. Изнемог малость. Сейчас пребывает в Переделкине. Как Вы спрашивали.

Так-так.

Елоховскую я никогда не любил. Там меня после войны бабки шуганули. На Москве здесь, после войны, в сорок пятом. Я в парадном генеральском кителе пришел, а они мне – что ходишь в одежде бесовской, мол, в Божий храм.

Это генеральский-то мундир – им бесовское облачение.

А в Переделкине раньше писатели жили. Когда Пастернак помер, я помню, Никита меня послал венки отвозить. От Президиума Верховного Совета. Ну и я так же. Когда Ахматова. Но это уже под Питером, на дачах каких-то, где комаров полно. Подгорного отправил. Потому что писатели и пуще того поэты – это не номенклатура ЦК. Это Верховный Совет. А в таких вещах соблюдать надо, иначе все совсем разболтается.

И что, выходит, теперь там священнослужители? А поэтов куда девали?

– А я думал, владыка, Патриарх на Кропоткинской живет. В Чистом переулке. Я там бывал, подарки отвозили. А в Переделкине – писатели свежим воздухом балуются. Теперь не так?

– Так, Леонид Ильич. Городская резиденция у Патриарха в Чистом. В Переделкине – загородная.

Во. Живут попы лучше членов Политбюро, а еще жалуются. Что нет свободы религии или еще чего-то.

– И у нас же в Кремле церкви есть. Полно. Чего было не помолиться? Почему в Елоховской решили? Ты вообще, владыка, как думаешь, Бог откуда ближе: из Кремля или с Бауманской?

Я помнил, что Елоховская – это Бауманская, и даже гордился, хотя не был там уже тридцать с лишком лет, с тех пор, как бабки безумные придумали мне про бесовское облачение.

Облачение! Это – слово.

– Расстояние везде одинаковое, Леонид Ильич.

Смеяться он даже и не пробовал, хитрый перец.

– Просто в Кремле соборы небольшие, тесные. Успенский еще ничего, а Архангельский, Благовещенский – там больших мероприятий не проведешь. А мы же всех архиереев собрали, чтоб молились за Ваше выздоровление. В Елоховской легко всех архиереев уместить. Вот почему.

– И что же, все ваши по пять дней отстояли?

– Чаше сменами по два-три. Но Святейший Патриарх Пимен отстоял все пять дней.

Смешно как говорит. «Отстоял пять дней». Слово время отстоять можно. Место – можно, наверное. Как Малую Землю или еще чего.

Болит-то, Господи, как все болит. Я бы к Ахматовой Анастаса отправил, но он уже к тому времени на пенсию вышел. Вот Подгорный с венком и поехал.

– Ну, ты, владыка, Патриарху Пимену привет передавай. Мы ведь за него тоже Богу молимся. Хотя и в переносном смысле. В прямом коммунисты молиться не могут.

– Отчего же не могут? Давайте поставим часовню у Вас на даче, в Заречье. Вам и удобно будет. Дважды в сутки – утром и вечером.

Он смеется, что ли? Издевается над моей клинической смертью?

– Нет, владыка Никодим, – здесь надо с именем, чтоб напористей, – партия не позволяет. У меня большая власть в партии, но такие фортели, как Никита, я выкидывать не могу. Политбюро не согласится. Да и не хочу, по правде сказать. Снимут еще к едреней фене. Скажут: ты, Ленка, и так на тот свет собирался, так что уже води себя поскромнее.

Вроде бодрость возвращается к генеральному секретарю.

– Часовню.

Да, часовню было бы прикольно. Как Андрюшка б сказал. Взять современного архитектора. Типа Посохина, который Калининский. И что-нибудь такое забалачить. Чтобы с дороги видно.

Я люблю молодых архитекторов. Что-то такое в них есть.

А Патриарх почему называется Святейшим? Я слышал, он сидел до войны. И в войну сидел. Его Иосиф Сталин только в 43-м освободил. Но мало ли кто когда где сидел. У нас по пьяни полстраны оттрубило, и что – всех теперь святейшими называть?

– Владыка, а ты вот скажи мне: почему Патриарх – Святейший? Он действительно святой совсем?

Нет, не работает все-таки язык человеческий. Точно случилось чего, чего не говорят.

– Ну, это титул такой, Леонид Ильич. Так принято называть. Про святость же один Господь ведает. Не нам, недостойным, судить.

Однако ж у вас хромает там, в церкви, дисциплинкато. Ты же кто-то вроде заместителя. Тебя спрашивают: твой начальник соответствует званию Святейшего? А ты, вместо того чтобы полностью и окончательно подтвердить, что-то там умствовать начинаешь: дескать, то Святейший, а то не очень, и еще про Господа Бога.

Хороши б мы были, если б Картер Суслова спросил: Суслов, а Брежнев действительно и полностью Генеральный секретарь? А Суслов пошел бы чесать, мол, типа, кто его знает,

может, полный, может, неполный, и вообще только производительные силы общества ответить могут. Кто бы нас тогда уважал?

Не продумано у Вас как-то, товарищ Никодим.

– И ты, владыка, правда считаешь, что этот самый Бог есть? Существует? И он еще там чего-то знает?

Вон у нас все Политбюро, вместе взятое, не знает, будет ли атомная война. А ты – про Бога!

А у канадцев выиграем чемпионат мира или не выиграем, а еще больше Олимпиаду в Монреале – это тоже к Богу в рай?

Как тогда можно страной управлять?

– Леонид Ильич, даже если Бога и нет, человек не может без него жить. Это как сиделка у постели больного. Не можешь долго дозваться Бога – и сразу умирать начинаешь.

Интересно. Оригинально, как молодежь говорит. Сейчас все большие попы так думают? Я когда тонул у Новороссийска, тоже Бога дозваться не мог? Но ведь дозвался же.

Жена-то моя верит. Или делает вид, что верит. Виктория Пинхасовна Гольдшмидт. Рассказывала мне много. Что якобы все апостолы под старость лет собрались в Риме, и император Нерон велел повесить их вниз головами.

А император Нерон – это тебе не император Бокасса.

Давно, правда, ничего уже не рассказывает. Замкнулась как-то. И по палехской шка- тулке даже не плачет. А я шкатулку от ивановского первого секретаря пять лет как получил, так в комод в кабинете и держал.

Нет. Так быть не может. Сейчас же 76-й, когда клиническая смерть. А шкатулку я подарил – 11 декабря 1979 года. Когда мы с Сусловым решали, как нам куда академика Сахарова девать. Или за день до того, как решали.

Когда я вспомнил остров Зюльт, и поехал к Марии, и это повернуло судьбу челове- чества.

Запутался я с этим временем. И все мы запутались.

– Помните, владыка, анекдот про время?..

Почему-то, когда про время, меня всегда на «вы» пробивает. Сто процентов из ста.

– Да я не очень по части анекдотов, Леонид Ильич.

А чего ж тогда приехал? Разве не генерального секретаря развлекать-веселить?

– Сидит мужик в буфете Белорусского вокзала. Выпивает. Много выпил уже. Вдруг радиоточка срабатывает. В Москве – пятнадцать часов, в Свердловске – шестнадцать, в Тюмени – семнадцать, в Хабаровске – двадцать два, во Владивостоке – двадцать три, в Пет- ропавловске-Камчатском – полночь. Мужик смотрит так внимательно на радиоточку и гово- рит: ну страна, ну бардак!

И митрополит Никодим громко захохотал! Нет, не тихо, не скромненько. Во весь рот. И я увидел зубы, все больше желтые и гнилые, как болты крепленные на застежках старого паровоза!

Вот уж не ожидал я, что владыка над бородатым анекдотом советским так ржать будет!

А выглядит-то плохо, плохо? Сливы под глазами все наливистей. Морщины, как тре- щины на ленинском саркофаге. Сколько ни замазывай, ничего не исправишь. И весит почти как я, килограмм сто двадцать, не меньше. Живот такой, что даже рясой не скроешь.

– А ты, владыка, с какого года будешь?

Тут-то и подвисло маленечко. Я заметил, что ему такой вопрос часто задавали. И он никак не любил отвечать.

Минуты полторы прошло, если не две.

– Двадцать девятого, Леонид Ильич.

Без этого нашего крестьянского «с».

Я не сразу даже и понял. Какого еще двадцать девятого?

– Так тебе сорок семь лет, что ли?

И владыкой не помянул, так удивлен был, до самой красной кнопки, что прямо над головой.

– Сорок шесть, Леонид Ильич.

А почему сорок шесть? Это уж совсем какие-то бриллианты всмятку образовались.

– Я же октябрьский, а теперь у нас февраль будет.

Отвечал Никодим. Словно старуха, что гоняла меня от Елоховской в следующие дни после самой войны.

И февраля не будет у нас. Потому что он уже есть. А что есть – того больше не будет. Я хоть и землеустроитель простой, и Днепровский машиностроительный по партийной линии понарошку закончил, но что-то и я знаю. Недаром уже столько времени сижу генеральным секретарем, и целых пять дней весь народ православный, весь люд, весь мир, все христианство молились про меня, чтобы выжил.

Пять дней! Этот ваш Господь мир создал за шесть, а – почти столько же. И все вы.

Но в сорок шесть, и ни в сорок семь, ни в шестьдесят так же я так не выглядел. Тут и почки, и печень, и селезенка. Он что, поддает здорово? Да не похоже. Другое что-то.

– Я вот подумал: может, владыка, пообследоваться тебе. В ЦКБ хорошо. И на Грановского у нас неплохо. А у церкви вашей есть своя клиника?

– Нет, Леонид Ильич, нету. Патриарх на Мичуринском лечится. А мы все – как придется.

Разве же Мичуринский уже построили? Я так еще не умер, а все-таки построили.

Как придется. Я в начале тридцатых с такими фельдшерами знал. Шприцы гнутые, бинты все в коровьем на возе. Вату словно обоссал кто-то. Простите, владыка, за плохое выражение. Я же вслух его не скажу. И не просто так, а язык потому что совсем не ворочается.

Вот это и есть как придется. А не так как у вас как придется.

– Ну, так я похлопочу, чтоб вас к ЦКБ приписали. Ты мне список составь. Согласуй только с начальником, и составь. Человек 5-6, не больше. А то никакого ЦКБ не напасешься.

Или никакой ЦКБ? Никогда я толком не знал этого проклятого русского языка. Даже по-украински много слов знаю. Но по-русски что-то не так. Может, и хорошо, что язык не ворочается.

Хотя бы пока, что называется, временно разрешили. Отдохнет язык от клинической смерти, там и поговорим. Над парами бассейна «Москва». Хотя его еще не придумал, а в 79-м только решил. С памятью-то после такой человеческой смерти тоже не все слава Богу бывает.

Не дав ответить, я все-таки продолжал.

– Неважно ты выглядишь, владыка Никодим. Как будто болеешь чем. Тебе никто не говорил?

Здесь уж поп не замешкался.

– Диабет, Леонид Ильич. И полтора инфаркта уже было.

Полтора инфаркта не бывает. Но не переспрошу, а то сил уже нет. Это он, видать, так шутит, по-священному. Над своим сердцем смеется, и не страшно ему.

– А чего ж Вас, владыка, к больному Брежневу-то прислали? Чтобы показать, что еще больнее бывает? В сорок шесть-то лет.

Вы! Шутка это или не шутка, уже неважно. Я ведь главный человек в полумире. И когда в Гаване Фидель, обрезав сигару, меня вспоминает, в непальских горах – эхо. Вот какие слова помню, хоть и клиническая смерть. Странно, что Чазов пропал. Я вот уж полчаса, как очнулся, а он все не является. Разобраться надо будет. Можем и молодого Лившица на его

место поставить. В смысле, не просто на место поставить, а на чазовское поставить. Лившиц ласковый. А незаменимых нет у нас, это давно известно.

Хотя тогда все скажут, что вот, дескать, у Леньки жена еврейка, и потому... А могут вообще придумать, что Лившиц – мой родственник. А мне такие придумки зачем? Мне и Виктории Пинхасовны Гиршфельд на всю жизнь хватило.

Вот ведь, выжил.

– Меня, Леонид Ильич, попросили Вас исповедовать.

Исповедь. Я давно из юности ушел, но про исповедь помню. Бабушку исповедовали перед смертью, под Екатеринославом, в деревне. Она мне еще тогда про бричку жидовскую рассказала. Говорит, мол, если бричку такую увидишь, беги сразу в хату, иначе жида, они схватят и кровь твою выпьют. Как вампиры какие или там вовкулаки. Она и не знала, что потом ее правнук евреем будет. Юрка, я имею в виду. Но вот когда жида на кремлевских приемах целуются, это все ж получше, чем мутанты. Жида не такие усатые, и больше на женщин похожи, чем жена академика. Новая жена академика! Это какая же старая-то была!

Стоп! А кто же мог попросить меня исповедовать? Вариантов три. Политбюро. Нет, отпадает. Они про это ничего не знают. Патриарх. Этот мог. Но тогда бы сам приехал. Исповедь – это ведь когда всякие тайны тебе рассказывают, а ты узнаешь. Пимен бы заместителя на такое дело не прислал. Я его все-таки знаю не один год. Отдохнул бы немного в своем Переделкине – и приперся.

Значит, жена моя, Витя. Она же говорит, что верующая. Мне нельзя, ей можно. Вот до чего мы женское равноправие довели. А нас еще и ругают.

– Ты, митрополит, скажи, исповедуют же прямо перед смертью. Вы уже меня заживо хороните. Я тут оклемаюсь, а вы мне перед смертью. А кто ответит советскому народу, что сделали с Леной Брежневым?

Нет, твердо и жестко говорить сейчас не могу. Никогда особо не мог, но нынче – особенно. Как-то.

– Исповедуют, чтобы полегчало, Леонид Ильич. Я хороший исповедник. Расскажите старую историю, и полегчает.

– Какую еще старую историю? Я историю КПСС знаю. Но она не старая, молодая еще.

Соврал. Немолодая. А историю знаю, потому что сам видел. Глазами. Вот как сейчас владыку этого несчастного – так и видел.

– Историю, как убивали Хрущева. Водкой «Зверская». С тазепапом. Вот как расскажете – так и отпустит вас.

Это что еще такое? Ты-то, пацан сорокалетний, откуда что знаешь? Жена моя тоже не знает. Это мстит кто-то из Политбюро. А кто? Может, они и меня таки, того?

Но я почему-то не стал ничего этого говорить. Закрыв глаза – устали веки.

Хотят отомстить – пусть отомстят.

– Я, владыка Никодим, никогда никакой водкой Никиту не убивал. Был такой план, но мы ж не исполнили.

– А Господь планами и интересуется. Исполнили, не исполнили – не важно. Тут намерение важно, а не исполнение.

Немилосерден твой Господь, вот что молча скажу. Как из жидовской брички вылез. Не знаю, только кто – я или Сам Господь.

И даже за само намерение Леньку осудят.

– Вас никто осуждать не будет. Скажете – и сразу полегчает.

Я разве говорил про «осудить»? Станный он какой-то, этот владыка.

– Хорошо, Никодим. Мы хотели. Это Семичастный придумал, я поддержал. Боялся, что Никита всех нас на Колыму отправит. Нажми теперь красную кнопку, будь ты так добр.

Сирена. Глухая такая, но сирена. И уже слышен бег тапочек будущего Лившица.



– Чтоб не отягощать Вас, Леонид Ильич...

– Да ты ничего не отягощаешь. Меня весь мир отягощает, а ты про себя говоришь.

Присядь еще.

– Московская Патриархия просила передать Вам подарки.

Так бы сразу и сказал. А то – исповедь, исповедь.

– Я люблю подарки. Ты давай.

Никодим тут сильно заволновался. Больше, чем когда хамил со своей исповедью. Вот ведь дивно все у них устроено.

– Здесь икона святого Леонида, Леонид Ильич.

– Святого?

– Святого великомученика. Леонида.

– Это точно как я. Великомученик. А хороший экземпляр?

– Отличный, XIX века.

– Ну, хорошо. А еще что?

Зачем спросил? Будто знал.

– Вот, Леонид Ильич, – владыка смущен явно, даже мне из полусмерти видно, непонятно почему.

– Ваши стихи мы опубликовали в Журнале Московской Патриархии.

– Что?

– Вот. Это было в Лозанне, где цветут гимнотропы, где сказочно дивные снятся сны.

В центре культурно кичливой Европы,

В центре, красивой, как сказка страны.

Да, помню, помню. Я в молодости намагался стихи писать. Хорошо, что не стал. Это партийной карьере бы помешало. И кто бы тогда сейчас партией руководил? Андропов? Молод слишком, неопытен. Суслов? Старый хитрец слишком, кавказец к тому ж.

А гимнотропы. Какое красивое слово! У них там действительно гимнотропы. А у нас разве такое привидится?

– Спасибо, владыка. Спасибо.

Я прослезился. Видать, сразу после клинической смерти начинаешь сильно слезиться.

Добрый Лившиц был уже здесь.

## Никодим

С владыкой мы задружились. Сначала на даче встречались, в Заречье. Но там слухи пошли. И Пимен приревновал. Каждую неделю встречались. Никодим причащал молдавским кагором, исповедовал про здоровье. Вот ведь странная какая вещь – старый дед с молодым парнем сошелся. На ровном месте, из-за клинической смерти.

А потом Патриарх как-то на прием ко мне записался, долго нудел чего-то, намекал, и непонятно даже толком, на что. И мы с владыкой решили. Встречаться будем в Завидове. И раз в две недели. Чтобы оставили в покое.

И вот однажды, в сентябре 78-го, он мне говорит.

– Леонид Ильич, – говорит, – а я ведь знаю, что Вам нужно.

И как-то хитро на меня посмотрел. Вот не знал, что попы хитрить так умеют. Да и он прежде не очень-то хитрил.

– Что же?

– То, что Вы заслужили.

– Это всем надо. Ты не хитри, владыка, устал я.

А ведь было это не в Завидове, а на даче как раз, в Заречье. А почему тогда там повидались? Потому что я простудился и в Завидово не поехал, вот почему. Хотя погода еще ничего была, бабье лето. Ноябрь по-вашингтонски.

Там же у меня на даче бланки были Генерального секретаря, штампы, ручки, перья, карандаши. Но не сталинские, как у Михалкова, а простые. Зато хорошие, чешские. Твердые, мягкие.

– Вам нужна Нобелевская премия мира.

Это он сказал, и меня аж передернуло. Про это я ведь даже не исповедовался. Хотел как-то, но потом решил: про здоровье – так про здоровье.

– С чего ты так решил?

– Ну, вы же миротворец. Хельсинкские соглашения сделали. Людей из тюрем выпустили.

Людей-то больше Никита выпускал, но сейчас об этом не будем. Чтой-то он в такой подхалимаж впадает? Раньше так не было. Или я болел, не замечал чего.

– За Хельсинские соглашения мне не дали ничего. Проехали уже. Тогда дали академику Сахарову. За брошюру какую-то. Книжонку никчемную. Уж никто и не помнит, о чем она, а Сахаров все представляется лауреатом премии.

– Ну не дали не из-за Сахарова. Просто Громыко с Сусловым профукали.

Ишь, как ты про членов Политбюро повадился языком чесать. Они все ж таки мои старые соратники, товарищи по борьбе. Никодим продолжал.

– Они должны были с января еще, семьдесят пятого, в Осло сидеть и почву готовить. Потому что выдвигают на премию зимой. Это присуждают осенью, а выдвигают – заранее зимой.

– Почему в Осло?

Я был в Норвегии. С официальным визитом. Один раз. Зато целых трое суток. И мы со здоровым королем, в короне и мантии, навернули тамошних лососей будь здоров. Тех, на которые латыши Августа Эдуардыча, будь он неладен, свои ярлыки клеят. И потом еще король пригласил в сухопутный парк развлечений. И мы поехали.

А там ведь еще Вилли Брандт. Но это я потом расскажу.

– По Нобелевской премии решают в Осло. Норвежский парламент.

– Не в Стокгольме?

В Стокгольме-то я раза четыре был. Там король у них новый какой-то, молодой, шибутной. Говорят, спал с негритянской певицей, большой скандал случился. Но я короля мало видел, все больше премьер-министров. У короля в Стокгольме власти ведь нет никакой. Только негритянских девиц трахать, прости Господи. Вот какая странная жизнь. У Генерального секретаря – вся власть, у короля – никакой.

– В Стокгольме все премии, кроме мира. А мира – в Осло.

– Ну и? Ты что, знаешь чего? Может, мне решили дать, чтобы извиниться? За Хельсинки?

– Пока нет. Но я точно понимаю, какое дело надо сделать, чтобы дали. Тогда уже не смогут не дать.

Чертовщина какая-то, не при попе будь сказано. Суслов с Громыко ничего не понимают, а этот чувак в рясе, на двадцать лет всех нас моложе, понимает. Черт, привязалось же! Опять черт. А чувак – это от внука, вы помните.

– Вам, Леонид Ильич, нужен Папа Римский. Против его желания не пойдет никто.

– Желания какого? Дать мне премию? С какой стати?

– Нам нужно объединение церквей. Нашей Русской и Римской. Ватикана. Это называется уния.

Что-то я про это дело слышал. Но вопрос ведь в том, кто этим всем управлять будет, этой унией. А я с каким-то Папой встречался. Лет десять назад. В Риме. Там потом еще в ресторан ходили, макарон ели со свининой. Вкусно все это было, ничего не попишешь. Но ходили без папы, он в своем дворце остался. А сейчас, наверное, уже и другой папа. Они же часто меняются. Не уследишь.

– И кто будет управлять всем этим делом?

– Главный престол – в Ватикане. Но наша церковь сохранит православный обряд. И в назначение Патриарха папа вмешиваться не станет. Только номинально станет, а так – нет.

– Подожди, подожди. Это значит, что партия нашу законную церковь проконтролировать не сможет?

Ты, право слово, думаешь, владыка, что если Генеральный секретарь на 20 лет тебя старше, и язык плохо ворочается, и клиническую смерть при тебе пережил, то он уж ничего и не соображает? Да если б я ничего не соображал, меня бы на Пленуме уже сняли. Я бы и сам заявление написал. Я цепляться за всю эту историю не собираюсь. Я не Иосиссарионыч и не Никита.

Леониду Ильичу водка «Зверская», да еще от алтайских товарищей, не понадобится.

– Партия сохранит контроль над церковью через предстоятеля, согласованного на Политбюро. Об этом обо всем можно договориться.

Кто такой «предстоятель», я уже не помню, и чем он там отличается от Патриарха обычного.

– С кем договориться? С папой? А Пимен, твой начальник, это все знает?

– Святейший – пожилой человек. Он очень Вас уважает и против партии никогда не пойдет.

– А партия-то здесь при чем? Это мы все должны сделать?

– Без Вас это не получится, Леонид Ильич. Без Вас лично. Не то что Политбюро, а именно Вашего личного участия.

И зачем мне это все, спрашивается? Да, ети его в душу, Нобелевская премия.

– И за это мне дадут Нобелевскую премию?

Не верится. Авантюра какая-то. Толстый опытный поп, а несет сейчас ахинею. А ведь раньше все разумные вещи говорил. Иногда проскальзывало, правда.

– Дадут. Против Святого Престола никто не пойдет. Я имею в виду, норвежский парламент и Нобелевский комитет против Святого Престола не пойдут.

Святой Престол – это, стало быть, Папа. А наш – Святейший. И потом просто святой будет командовать совсем святейшим? Что-то не сходится.

– А что американцы скажут?

– Американцы за. Картер очень хочет. Это я знаю по своим каналам, через нашу американскую митрополию. Это я же нашей церкви в Америке автокефалию сосватал.

Кого сосватал? Он, когда входит в раж, начинает говорить непонятными словами. Так уже пару раз было. Но мне-то что, с другой стороны? Я дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Если скоро получить премию – можно и еще о чем-то подумать. Даже.

– И что прямо сейчас надо сделать?

– Надо прямо сейчас, чтобы Вы написали письмо папе.

– Да ты не с ума ли сошел, владыка. Писать письмо, чтобы его завтра в итальянских газетах напечатали?

О том, что старый Брежнев головой тронулся, шашни с папой затеял, а никто и не знает? И вопрос даже на Политбюро не согласован?

– Нет, Леонид Ильич, текст безобидный. И я его секретность гарантирую.

– Как ты можешь гарантировать? Ты что, КГБ? Или ЦРУ?

– Я в доверительных отношениях с секретарем папы. Самым близким ему человеком.

– А с самим папой? Это не тот, с которым я лет десять назад в Риме встречался? Разумный мужик, неглупый. Взвешенный такой, продуманный.

– Нет, папа новый. Только что избрали. Тот умер. Иоанн Павел Первый.

– Тот, кто умер?

– Нет, тот был по-другому, Павел Шестой. А этот – Иоанн Павел Первый.

– А почему так длинно?

– В честь двух предыдущих пап. Иоанна и Павла.

– Да. Что ж, папа новый, а секретарь старый, раз ты его знаешь?

– Да, секретарь старый. У них так принято. И даже ближе к новому папе, чем к старому.

– Ох, втравливаешь ты меня, владыка, в какую-то ерунду. Я ведь тебе доверился. Исповедовался. Кагором молдавским причащался. А ты.

– Это будет величайшее Ваше достижение. Историческое, Леонид Ильич.

– Знаешь же, что я в церковных делах не петрю ни бельмеса. И что писать? На машинке печатать будем?

– Нет, машинке доверять нельзя. От руки писать придется. Иначе может случиться, о чем Вы говорили.

– У меня пальцы уже не гнутся.

– На бланке Генерального секретаря.

– У тебя текст с собой?

– С собой.

– Давай, я почитаю. Очки вон со стола мне подай. Ваше Святейшество!

Советское руководство проявляет активный и существенный интерес к установлению плотных и конструктивных контактов со Святым Престолом, в том числе по вопросам кардинального сближения Римской Католической Церкви с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ МП). В РПЦ МП этими вопросами занимается член Священного Синода, митрополит Никодим (Ротов). Просьба найти возможность принять его в ближайшее время и обсудить разнообразные возможности сотрудничества, которое, я уверен, откроет качественно новые перспективы утверждения социальной справедливости и борьбы за мир во всем мире.

С уважением,

Л. Брежнев.

Так. «Ваше Святейшество» не пойдет. Не может главнокомандующий всех армий социализма так к священнику обращаться. Тогда уже если опубликуют, то точно трындец.

Но так только и можно, Леонид Ильич.

Подожди, не перебивай главнокомандующего. Еще. Я от имени всего советского руководства писать не могу. Потому что это не обсуждалось на Политбюро. Могу только от себя писать. Мол, как представитель советского руководства, так и сяк.

Второе – годится, Леонид Ильич. Но с обращениемто как?

Придумай другое.

Но...

Я тебе сказал.

Тогда можно написать «Верховному Правителю Святого Престола». То есть – уважаемый Верховный Правитель Святого Престола.

Ладно, хрен с тобой. Чувствую я, не премию мне дадут, а маршальского звания лишат. Проведу остаток жизни на завалинке.

Владыка подал мне руку, и я увидел, как ему больно. Те глаза, которыми историю видел, еще есть, работают. Я сел за стол и накорябал письмишко.

Сколько же лет я ничего не писал саморучно! Еле-еле, в час по чайной ложке. Корябал-корябал, корябалкорябал. Мой исповедник мог потерять терпение, но не потерял его.

– Ладно, забирай, Никодим. Когда ты едешь?

– Через пять дней, Леонид Ильич.

Не понял я, что было на лице его – болезнь или счастье. Так никогда больше и не узнал, и не узнаю уже.

Я не верил ни в какую премию через папу, но исповедник мне действительно помог. Когда нажал на красную кнопку и вызвал доброго Лившица. А так бы куковал я, как пень, со старухой и егерями. Правда, пень никакой не кукует, а кукуют только птицы. И, кажется, даже всего одна из них. Которая так и называется.

Вы думаете, это не так?

И стихи мои в журнале опубликовал. Я про них и думать забыл, а он опубликовал.

Через неделю явился Костя Черненко. Прямо с утра. Редко так делал. Он не бог – не бог весть какого ума. Но меня-то давно знает. С Молдавии еще. С конца сороковых. Когда еще сам Сталин был жив. Костя разбирается, что у меня к чему. Потому с грязно-серым лицом и пришел.

Короче, Никодим умер. Отравили. Или погиб – как правильно теперь говорить? Отравленной водкой, которую сам и повез в подарок к Папе Римскому. Прямо перед приемом скончался. 49 лет.

Да.

Сорок восемь даже, до сорока девяти чуток не дотянул.

Слуга Господень, понимаешь ли.

Леонид Ильич тогда поехал в Кремль и вызвал Андропова. Он уж давно никого не вызывал, тем более – Андропова, а тут.

К самому началу встречи навроде собрался дождь. Или не дождь, если таких дождей не бывает. Окна пошли странно запотевать. Будто в бане. В Кремле так и не бывало раньше, не припомню. При Сталине, может, и бывало, но при Иосифе Виссарионыче всякое случалось.

И мертвые оживали.

– Скажи, Юра, ты не слышал, что у попа у этого, который в Италии помер...

– Митрополита Никодима Ротова, Леонид Ильич.

– Могла быть в кармане бумага на бланке Генерального секретаря. Не знаешь?

Андропов замялся. Но если что, я-то знаю, что буду делать. Я не примусь терпеть прямого предательства. Я восстановлю Карело-Финскую ССР. Шестнадцатую республику. И

поставлю туда этого Юру. Юрка, ети его в душу. Откуда пришел в Москву, туда и вернется, шельмец. А на КГБ – Цвигуна.

Нет, я жду ответа. Я еще жив, и не старый совсем.

– Так точно, Леонид Ильич. Итальянские товарищи передали нам все личные вещи митрополита. Там был и запечатанный конверт с неким письмом. Оно у меня с собой. Что с ним делать?

А зачем я сказал про бланк? Получается, сам себя заложил. Мудила стоеросовый. Мало тебя в землемерном техникуме учили. Да и какие еще бывают у Андропова итальянские товарищи? Старый черт Печенькин, что ли? Это я так называл их Берлингуэра, потому что берлинское печенье. Напридумывают же люди себе фамилий, щеки свернешь.

Или Андропов всех буржуазных чекистов тоже товарищами называет?

Нет, отлегло.

– Оставь, Юрочка, у себя в сейфе. Пусть хранится. Целее будет.

Ну ее, шестнадцатую республику. Сил уже нет. Больше нет. Остается как есть.

Потом я все понял, с ними разобрался. Пимен к Суслову захаживал и от Андропова не вылезал. Исповедника прослушивали, ясно. Записывали. Они взаправду испугались, что все уйдет под папу. И Никодим будет вместо Пимена. А владыка мой, чего уж там говорить, так и хотел. Он, сука, много чего хотел. Желания большие у него были. Как это называется? Амбициозный? Не выговоришь, как выговорил бы он сам.

Больной-больной, а все туда же хотел – на престол. Это только меня все ругают.

Но мне-то доложить не могли, боялись. Вот и избавились от него сами. Без ведома и без спросу.

Неплохая смерть. На лестнице, верхней ступеньке. Во дворце прямо в Риме. Я вот так не смогу. Не поднимусь уже никогда. Ноги ни за что не дойдут.

А что, если б не отравили? Скопытился бы здесь у нас на Мичуринском от четвертого инфаркта. Или по «Скорой» бы забрали, вкололи какой-нибудь дряни, по дороге бы и умер. Без заезда.

И папа этот с двойным именем через месяц тоже умер. Стало быть, успел хлебнуть зверской водочки.

На окна кабинета Верховного главнокомандующего с самого верхнего боку рухнул неожиданный дождь.

Все-таки жаль, что Бога этого нет. Судя по всему, нет.

И черт его знает, кто там руководит второй половиной мира.

## Остров

Академик Сахаров дурацкий не врал. Я действительно 11 раз был в Германии. Там, у них, в ФРГ.

Я, кстати, Хонеккера этого никогда не любил. И не люблю сейчас. Он лживый больно и похож на Андропова. Внешне похожий – сухонький, очки, зачес, не пьет. Разговаривать может резко. Не с Леонидом Ильичом, ясное дело, но с другими – может.

Зато Андропова – люблю. Хотя он и похож на Хонеккера. Юрия Владимировича, Юрочку, моего боевого товарища. Уж сколько лет. Не подводил ни разу. Только очень рвется на мое место и отравил моего исповедника. Но это так, всего два раза было. И еще мне все говорят, что когда я помру, он дочку мою посадит. Ну, во-первых, я еще помирать не собираюсь. А во-вторых – посадит и посадит. Может, она там, в тюрьме и образуется. Образуется, тьфу. Я хотел сказать: образуется. Что мне, из-за нее с товарищем ссориться?

А вот Вилли Брандт – по-настоящему порядочный человек. Очень достойный человек. Друг мой. Я потому так и часто к нему ездил. И он всегда делал, что обещал. Обещал, что будет разрядка, – сделал. Помирился с СССР – сделал. За это его и съели.

Жалко, что мы уже чертову прорву времени не созванивались. Надо. Вот соберусь после Нового года. До Нового уже не успею, хлопот по горло, все эти выборы, Сахаров. А после – сразу.

Или после выборов позвоню. Сразу 24 февраля. То есть нет, 25 февраля. И уже заодно буду знать, остаюсь председателем президиума или нет. И ему первому скажу. Одному из первых. Он очень порядочный, всегда был.

А вот Сахаров – непорядочный, совсем. Получил от нас три звезды, куда раньше меня, и академика с руками оторвал. В 32-го года. Хотел глубинные бомбы под Нью-Йорком взрывать. А потом заделался другом Америки и честным бойцом за права человека. Так же не делается. И жениться на мутанте не нужно было.

Но я его снимать с выборов не буду. Он и так проиграет. Сам. Вот увидите. Настоящего советского человека на мякине не проведешь.

Если б Сахаров знал, чего мы при Сталине насмотрелись. Он-то – как сыр в масле. Откуда ему понимать. А знал бы, так понимал, что нас на мякине не проведешь. И 24 февраля люди придут и проголосуют за меня. На самом деле, честно проголосуют. И никакого Сахарова больше не будет. То есть академиком-то останется, и трижды Героем. Я же честно его трогать не стану. Но в Верховный Совет больше не полезет. Ишь, повадились поперек батьки в пекло.

Поживите с мое, молодежь. Клиническую смерть пройдите, чтобы Никита вас на том свете на ковер вызвал. Да еще к Иосифу Виссарионовичу зайти предлагал. Вот я на вас бы посмотрел. Академик! Забрал мою премию и думает, что схватил Бога за бороду. А схватить за бороду он может только свою жену-мутанта. Или бабатурчанку из той оперетты. Какую Никсон мне на Бродвее показывал. Как она называлась? Помню только, что Стравинский, любовник Кати Фурцевой. Она еще очень переживала.

И еще про устрицы академик по ящику рассуждал. Что в Париже, дескать, мне двенадцать штук дали. А я ни одной-то и не съел! И съесть не мог! Скормили собаке в нашем посольстве. А почему? Я вам расскажу сейчас, потерпите.

А Вилли Брандт хотел, очень хотел, чтобы я Нобелевскую-то получил. И мог мне помочь. Seriously помочь мог. Он-то еще в 71-м году получил. За что – я так и не понял, правда. За то, что меня смягчиться уговорил. А я – Хонеккера нагнул. Хотя Хонеккер и противный, и на Андропова слишком похож. Но теперь Вилик – мой друг. Я его переспрашивать не буду, за что ему дали. Пусть лучше мне поможет, и дело с концом.

Моя жена еще его Вилочкой стала называть, когда встречались в Завидове. Но я пресек: Вилочка – слишком уж по-детски как-то. Могут не понять. А тут еще переводчики. С ними тоже ухо остро. А то на всех кухнях Москвы ржать начнут.

А еще, я вдруг заметил в памяти, Брандт гражданином Норвегии ведь когда-то был. Когда его в Германию не пускали. При немцах. И на двух норвежках женат. Но не сразу. Сначала на одной, потом на другой. И если премия от норвежцев взаправду так сильно зависит – это, братцы, совсем другое дело.

Вот мы и поехали с ним обсуждать. Он сказал тогда: в Бонне обсуждать нельзя. Все прослушивают. Как в воду глядел. Он сам на прослушках и погорел потом. Жалко очень человека. Это вам не Хонеккер и не сволочь Сахаров какая-нибудь. Жесткий был, с принципами. Если кого с ним сравнивать, то только Андропова. И даже если Юра мою дочь посадит, когда я уйду, – не в обиде буду. Принципы важнее. Нас так с детства учили.

И мы, стало быть, с Брандтом полетели вертолетом на Север. В Германии на Север, не у нас. Это в апреле было или в марте. И всего-то народу: два пилота, два охранника – один мой, один его – и переводчица. Вот Кристина или Карина, забыл, честно. Вертолетом мне уже тяжело летать, но как-то выдержал. Брандт еще ликеру налил, мятного, вкусного, так и продержались. А когда прилетели на берег моря, то пересели на катер. На паром такой небольшой. И поплыли на остров.

А остров точно помню, как назывался – Зюльт. Вот так, прямо пять букв – З-Ю-Л-Ь-Т. С мягким знаком. Странное слово, но привыкнуть можно. Привыкают же наши люди к женам-иностранкам, и ничего. Брандт вон к норвежским женам привык, и за это премию получил.

Хотя почему назывался? Он и сейчас так называется, скорее всего. Немцы, они ж редко переименовывают. Я разборчиво сказал?

Приплываем на катере, на паромчике этом, а он весь скромный, зато чистый и лакированный. Не то что у нас, когда потратят денег, а на выходе ржавые гвозди торчат. Немцы умеют, не то, что мы. Но мы как могли научиться? Вечно война, некогда. Вечно. Только при мне войны нет. Я установил мир. В целой Европе. А премию гребаные академики забирают. Да.

Там плыть всего на паромчике до острова – минут двадцать. Меня вообще укачивает, хоть я и на Малой Земле был, и все прошел. Но потом – Пленум, Генеральный секретарь, инфаркт, мозговые сосуды, клиническая смерть.

И приходит катер. Охрана как будто растворяется, исчезает. Да и Бог с ней. И мы подходим к дому, большому, красивому, как дом Горького в Москве. Помните дом Горького? Садимся на террасе. Столик такой зеленый, а стулья железные. Но с подушками красными, мягкими, чтобы не сыро. Солнце. Смотрим на море. А дом прямо на пляже, и песок – сразу у ботинок. Только что в носки не набивается.

Это Северное море.

У нас северные моря – все лютые, с ветрами жутчайшими. А там – ветер легкий-легкий, как будто воробушек пролетел. И – тепло как-то. Хотя весна, и не сезон совсем, и море, и Северное. А вот, поди ж ты – тепло. Кто его разберет, почему.

Брандт тогда мне говорит:

– Ленька, а знаешь, чей это дом?

Ну, Ленькой он, конечно, меня не называл. Это я так просто, для порядку. Называл «Леонид», но на «ты». В немецком языке, как сказали мне переводчики, слово «ты» есть. Это вам не английский с Киссинджером. Хотя Киссинджер был на «ты», и Никсон тоже.

– Ну, твой, должно быть, – отвечаю. – Иначе б ты чего спрашивал?

И что б мы тут иначе делали? От прослушки спасались? В чужом доме не спасешься.

– Да, сейчас мой, – довольно похлопал Брандт себя по коленям. Он, кстати, внешне очень простой был, Рязань Рязанью. Мне объяснили потом, что среди немцев такой тип



сплошь бывает. Особенно если из Баварии, да? Вроде бы из Баварии. Канцлер Шмидт – тот тоже на профессора не шибко смахивает, но все ж таки лощеный какой-то. Костюмы всегда очень плотные, клетчатые, или полосатые совсем, и запах – как от Ирен Жолио-Кюри, не меньше. А Брандт – попроще. И почему был? Он и есть. Хоть и давно не созванивались.

– А чей же дом был раньше?

– Чей?

– Адмирала Деница!

И канцлер Брандт уткнул в небо восклицательный палец.

Дениц – это из войны что-то? Я же до Берлина дошел, должен помнить. А дошел в самом деле или нет – и самому уже неизвестно. Как в учебнике истории скажут, так и будет.

– Дениц – это кто?

– Ну как же ты! – Брандту вроде стало стыдно перед переводчицей, девицей маленькой. – Преемник Гитлера, вот кто. Он здесь в этом доме на Зюльте и сидел. Здесь же вражеских войск не было.

Вот смешно! Вилли такой из себя антифашист, а войска союзников все называет вражескими. Машинально. Я не обращаю внимания. Я люблю его. И за Рязань его плоскогубую, и за доверие, за то, что раньше меня премию получил и мне присватать хотел, и за этот вот таинственный остров сокровищ. За песок люблю.

– Какой у Гитлера мог быть преемник, ты прости? На нем же все и закончилось?

– Не помнишь свою войну, Леонид.

Действительно. Я-то воевал, боевого генерала получил, а Вилик?

Я тут отвлекся на сосны. На Зюльте этом удивительные сосны. Вроде как наши, зареченские, завидовские. Но и другие совсем. Толстые, упорные. Уходить никуда не хотят. Таковую просто так не срубишь. Не вырубешь. Германия! Не грустные сосны, а молчаливые. Разные же вещи совершенно. Наши – грустные, они – молчаливые.

Но если заговорят – мало никому не покажется. Я так думаю. По-немецки и заговорят.

Ну а на Юрмале сосны – смех и грех один. Или смех и грех один быть не может, их обязательно два должно быть? В общем, какой Август Эдуардыч – такие и сосны. Тощие, облезлые, поддатые, слащавые и горькие, как бальзам рижский, того гляди упадут. На Юрмале я бы без каски на пляж не пошел. Ну, на пляж, может, еще и пошел бы, а в дюны, где сосны стоят – не пошел.

Хорошо, что у меня охрана хорошая. На все натренированная.

– Гитлер сгорел 30 апреля. А капитуляция была 8 мая. Вот 8 дней Дениц и сидел здесь преемником Гитлера.

– Один сидел?

– С охраной. Но без войск. Войска разбежались уже.

А родственники, дети, жена? Они-то где? Одна только охрана?

Не стал переспрашивать. Ну его в баню. Адмирал так адмирал.

Да, еще подумал я, а почему 8-го-то мая? День Победы у нас когда?

– Слушай, Вилли, День Победы у нас же девятого. Так что Дениц девять дней один с охраной сидел.

Как это, до речи, правильно. 9 дней. А сколько еще должно было пройти, чтоб Гитлерова душа отлетела? Помню, мы с Никодимом это все обмозговывали. Обработывали, так сказать.

– У Вас девятого, у нас – восьмого. Чтобы два дня подряд всей Европой праздновать. Одного дня не хватило бы. Я ж тебе объяснял.

Да, Брандт простоват, тем и хорош. А Карина или Кристина его, переводчица, – не простовата совсем. Вот ейей буду. Рыжая-рыжая, как будто в клоунском парике. С веснуш-

ками. И притом сильная, своенравная. И грудь красивая. Не такая большая, как у центральной буфетчицы Днепродзержинска, но зато по формату куда лучше.

Я тогда только понял, что она любовница Брандта. Уж слишком смело с ним себя вела. И даже ко мне обращалась по имени, словно к другу, а не командиру половины земного шара. И не по делу сюда приехала.

По-русски говорила очень хорошо.

– Леонид, Вам нравится у нас на Зюльте?

У нас! Они что, вместе с Виликом прямо в этом доме живут?! А когда ж успевают? Он же в Бонне должен все время Германией руководить.

– Нравится. Очень нравится. У нас ведь Балтийское море тоже есть. Только куцее. Развернуться негде, простора нет. Я там, у нас, больше Черное море люблю. Пицунду, Форос, Ореанду знаете? В Болгарии я бываю, на Золотых Песках. Фидель Кастро очень на Кубу приглашал, но уж далеко больно. Пока обратно долетишь, весь загар сойдет. А здесь я мог бы жить. Простор есть.

– Это не Балтика. Это Северное море. Совсем другое.

Как она так хорошо по-русски?

– А где же ты, Кристина или Карина, русский язык учила?

– Да везде учила.

И расхохоталась всеми рыжими волосами.

– У меня отец русский. В 45-м был подполковником в Грайфсвальде. А мать – немка.

Где Грайфсвальд, я не помню, да и не надо. А так – все сходится. Ей, переводчице должно быть 45 с небольшим. Тьфу, бесовщина, 25 с небольшим. Если сразу после 45-го года. Вы понимаете.

Я заулыбался, как только мог. Мне всегда говорили, что у меня обаятельная улыбка. Даже Ирен Жолио-Кюри говорила.

Кажется, Вилик слегка заревновал. Он резко вскинул свою рязанскую руку куда-то направо.

– Вот видишь, Леонид. Там, в дюнах, еще один дом?

Я увидел. Не сразу, но разглядел. А сказал, что сразу вижу.

– Сразу вижу.

– Так вот. Это дом писательницы Агаты Мюллер-Ханке. Любовницы Геббельса. Но не настоящей. Она была влюблена в Геббельса, а он в нее нет. Да и Магда не отпускала. Я говорю, Магда Геббельс, законная жена его, мать шестерых детей. И тогда Агата покончила с собой. А знаешь, когда покончила? В день битвы на Курской дуге. В сорок третьем.

Во дура. Подождала бы еще немножко. Зачем так быстро покончать?

– И кто теперь в этом доме? – спросил Леонид Ильич.

– Не знаю точно, но какие-то ее родственники там есть. Дом обжитой. Если хочешь, можешь купить, и будем жить на Зюльте вместе. Рядом то есть, я хотел сказать.

– Когда Вы с Вилли все уйдете от власти, – забросила Карина-Кристина, и мне показала, что как-то язвительно.

– А дом Деница ты купил? Он твой?

– Купил. Три года назад. Хотя это нельзя афишировать. И не потому, что он дорогой. Он не так много стоит. Просто для немцев фамилия Дениц неприемлема. Одиозное имя. Был бы скандал, если б узнали, что федеральный канцлер, социал-демократ, взял жилище гитлеровского адмирала. После отставки должен еще год пройти, чтобы можно было узнать.

Нет, эта рыжая прелестница не совсем так по-русски говорит. Так ведь не говорят, правда? Хотя, что я там в этом понимаю! Я ж говорил, что мне даже с украинскими словами легче.

Никогда я не разбирался, как можно запросто приобрести чужой дом. А Зюльт...

– Ну, ты-то, Вилли, в отставку не собираешься? А то кто ж разрядку-то будет делать? И я ни в одном глазу не собираюсь, не сомневайся.

– Рано или поздно, Леонид, все равно придется.

Случайный ветер растрепал рыжие волосы Карины-Кристины, похожие на кроны северных сосен. А южные сосны ведь тоже бывают, так? На Пицунде-то они какие?

Но это уже не то, я вам говорю. Сосны Зюльта – лучшие. Правда. Лучше не бывает. Лучше, чем на даче у меня. И чем в Завидове.

Потом мы часок всухомятку обсуждали премию, – где-то часок – и рыжеволосая вмешивалась так, словно она эту чертову Нобелевку пробивать и будет. Как будто она великий канцлер Брандт, а не он. А потом из дома на террасу вышли два официанта и вынесли устрицы.

Я знал, что устрицы бывают на свете. Но никогда их не пробовал. Только видел изда-лека, на приемах каких-то. Мне моя жена говорила, что устриц подают живыми, и они во рту еще пищат. Страшала, одним словом. Потом-то я понял, чего страшала.

Так те северные устрицы оказались какие-то просто гигантские. И ничего более вкусного я в жизни не едал. Чем устрицы острова Зюльт.

Я еще понял, что надо добавлять какой-то красный соус, а закусывать хлебом с маслом. Но не обычным хлебом, а специальным, который водится только в Северном море. Его прямо на берегу собирают, руками и сетью. Я так понял. И орудовать маленькой вилкой. А мне очень сложно орудовать – пальцы плохо гнутся. Я и письмо Папе Римскому от руки еле написал. Помните? Но ничего – справился.

Кажется, я тогда даже собой гордился.

Мы оставались там до самых сумерек. Между 9 адмиральскими днями и бабой-самой-убийцей. Только рыжее пятно долго мерцало в темноте. И еще – с чего-то светилось в доме писательницы одно маленькое окошко. И кто помещался в том маленьком окошке, неизвестно. Может, прослушка, а может, снайпер.

Но на Зюльте не слушают и не убивают. Так сказал Вилли Брандт. А Карина-Кристина снова хохотала в голос. То ли веселилась. То ли издевалась. Мол, прослушивают и убивают везде. Особенно если глава большой страны. Уходите отовсюду – вас перестанут слушать, перестанут и убивать. Заодно.

Премию тогда так и не дали. Вилли Брандт через годик ушел в отставку. Там еще весь этот скандал был, Вы помните. Что вроде на него наши шпионы работали. Может, и работали, – я что, святой, все знать?! Святой у нас только Престол. Правда, есть еще Святейший, наш собственный, но и он про советских шпионов многого не знает. Что о них в Переделкине-то знаешь?

Говорят, правда, что Патриарх и сам агент КГБ. Но одно дело – сам агент, другое – про остальных знать. Там в КГБ лишнего никому не рассказывают.

А еще вроде не прямо наши у Брандта работали, а ГДРовские. То-то же я всегда Хонеккера не любил. Ну не то что не любил, – недолюбливал. У него по разведке Миша Вольф какой-то был – очень противный. Из наших евреев. Перешел в немцы в какой-то момент. Так и представлялся – мол, Миша Вольф, прошу любить и жаловать. Миша! Он-то Брандта и подставил.

На прощание я спросил Карину-Крестину: у вас на Зюльте гимнотропы растут? Она не сразу поняла, посмотрела на Вилочку. И вместе они ответили: нет у нас гимнотропов.

Жаль. Значит, только в Лозанне. Но все равно остров мне больше понравился.

А когда вернулся в Москву, сразу спрашиваю помощника, Александра:

– Скажи, что, у нас в Советском Союзе устрицы есть?

Он мне через 2 часа – справку. Очень исполнительный товарищ, не скажешь ничего. Что, мол, есть прекрасные устрицы, лучше, чем немецкие и французские. Правда, на Дальнем Востоке, потому везти дорого.

Дорого, дорого... Вечно на Генеральном секретаре сэкономить пытаются. После всего, что я им дал.

Я и велел затариться устрицами для нашего управления делами и раз в неделю их подавать. На обедах с товарищами.

Но тут-то ничего и не вышло. Развалилось все.

Чазов устроил истерику, что с моими больными суставами устриц есть вообще нельзя. Обостряются все эти артриты, будут боли адские. И жена – туда же. То-то она меня в свое время страшила, чтобы я на устриц только смотрел, а ближе к ним и не подходил.

Но ведь на Зюльте все было хорошо. Там-то суставы не заболели? А почему?

Я еще помощника, Александрова, ругал, что Чазову вообще сказали. А он мне, в сущности, верно ответил: вся еда Генерального секретаря через врачей проходит. Иначе нельзя. У нас Генеральный секретарь всего один, рисковать не можем.

И то правда. Спорить не буду. Не можем.

Один. Совершенно один.

Так что врет достоверно ваш клятый Сахаров. С Жискаром тогда в Париже я к устрицам и не притронулся.

Всю мою порцию отдали посольской собаке. Красивой такой овчарке, с каштановым отливом. Сам видел. У нас, в посольстве СССР.

Собаки любят устриц.

Очень.

## Мария

Я тогда еще, когда на Зюльте сидели, стал думать: а ведь и мне нужна молодая любовница.

Я, конечно, постарше Вилика, и хлопот у меня побольше. Страна-то какая! Не крошечная их ФРГ. Но со старой женой все время быть невозможно. Я уже ей и так всю жизнь отдал. Новые впечатления нужны, чтобы хоть как-то влюбиться. Даже по маленькой, понарошку.

Да и в постели вечно быть одному скучновато. Даже если ничем не заниматься. А просто так полежать – уже лучше не в одиночестве.

Мне в свое время еще Никсон с Киссинджером сказали: женщину в мужчине привлекает, в первую голову, власть. Умно, но правильно. Я у Чазова хотел переспросить – но не люблю его, сука он. У Никодима – постеснялся. С Колькой Тихоновым или Сусловым разговаривать вообще бесполезно. Поверил и так. Все эти миллионы квадратных километров, не могу никак цифру запомнить, четыре миллиона одних войск. Какой там Наполеон, какой Александр Македонский!

Верховный главнокомандующий всем этим добром. Или всего этого добра – как правильно сказать?

И если в Вюнсдорфе меня вспоминают, то в Камрани уже всем икается. Эти слова я на бумажку отдельно записал, чтобы ничего не перепутать. А бумажку носит при мне охрана – всегда, в шелковом спецфутляре. Так что не переживайте, не перепутаю. Постараюсь, главное слово.

И мне подобрали.

В прошлом году, когда ездил в последний раз в Молдавию, первый секретарь ЦК – вот здесь-то и забыл его фамилию, но потом вспомню, ерунда вопрос – посоветовал мне певицу одну. Типа Аллы Пугачевой, только помоложе лет на пять. Совсем молодую, так сказать. Поет знатно, громко. Смазливая очень.

Мне, кстати, мой помощник Александров говорит, что смазливая – значит красивая, а Суслов – что такая одутловатая с припухлостями. А мне хотя все равно. И так, и так устраивает.

И еще. Она поддает слегка, и от нее часто молдавским кагором пахнет. А я на него подсел, когда владыка Никодим меня причащать начал. Царствие ему небесное. Самто почти не пью, а вот запах как-то даже возбуждает. В 73 моих года. Все сошлось, один в один.

Мне ее привезли в Москву.

Ну, на даче, понятное дело, я держать ее не могу. В Завидове – далеко слишком. Вертолетом не налетаешься. Малоизвестных людей вообще ни о чем не попросишь. И стали искать ей большое, хорошее жилье в Москве.

А зовут ее – Мария. Маша. Но я лучше предпочитаю Мария. Так больше мне нравится почему-то.

Раньше и не думал, что девку на 50 лет назад моложе себя так парадно называть буду. Прямо секретариат ЦК, не меньше. А сейчас – врос, и все получилось.

И напрасно Чазов там Вите рассказывает про мои 78, что вместо семидесяти трех. Дряхлости я уже целый год не чувствую. А если врач не догадывается – его дело. Давно пора Чазова на молодого Лившица заменить. Времени все только не хватает. И чтобы никто не говорил, что Лившиц, дескать, моей еврейской жены двоюродный племянник.

Но квартир-то в Москве подходящих – днем с огнем. А потом еще мне генерал Рябенко говорит. Леонид Ильич, говорит. А как Вы туда ездить будете? В смысле, к Марии. Вы же не можете просто в подъезд многоквартирного дома зайти. Это ж небезопасно. Угроза смер-

тельная. Ветер, комары, гусеницы, крысы, люди, собаки бешеные. А если пьяный мужик-копатель с арматурой из подвала выйдет.

Я ему: Рябенко, так зачем простой дом, давай наш цековский возьмем. А он мне: еще хуже, Леонид Ильич. Консьержка вас сразу узнает – и ну по всей Москве разносить. Что тогда делать будем?

Можно подумать, в каком другом доме меня консьержка не узнает. Суслов говорит, у меня 84 процента узнаваемость. Или 82. Точно не припомню, но в 100 раз больше, чем у Сахарова. С его премией, о которой народ-то и не слышал ничего. Вот если б мы по первой программе рассказали – слышал бы. А так – откуда? И в «Правде» ничего не писали, и в «Известиях». Могли в «Комсомолке» написать, но ей-то кто поверит? Даже если б написали. И если б там даже подпись стояла – «Леонид Брежнев». Не поверят. Не подумают, что это действительно я подписал.

Но, спору нет, прав Рябенко. С консьержкой связываться для Генерального секретаря – последнее дело. А тут еще большая история случилась.

Был такой Алексей Максимыч Горький. Писатель. Вы слышали. Я еще в техникуме его роман «Мать» прочитал. Ничего не понял и не запомнил, как водится. Ерунда какая-то, по моему. Про мать Горького. Это как если бы я не «Малую Землю» и «Целину», а про свою маму-покойницу написал. Или про бабушку с жидовской брочкой.

Но Алексей Максимыч любил хорошо пожить. Нескромный он был. Как Патриарх Пимен, а то и хуже. Сначала в Италии, на острове. Не таком хорошем, как Зюльт, но тоже ничего. Теплом. С южными соснами. Я сам не был, но говорят. А потом Иосиссарионич его в Москву заманил. Думал, что Горькому Нобелевскую премию дадут, и тогда лучше в Москве ему сидеть, что как будто совсем советскому дали. И выделил ему от грузинских своих щедрот – большой купеческий особняк, в самом центре. В двух шагах от моей нынешней квартиры, которую я детям переправил. Чтоб Вы ни думали.

А когда Горькому Нобелевку-то и не дали, разгневался Сталин, что обманулся в лучших чувствах. И поручил НКВД. Ну, вы понимаете. Он гневливый был, хотя и тихий. Самый страшный гнев – он и есть тихий. Вон, Никита орал себе, орал, а потом слился в один день. Пришел на Пленум генсеком, а ушел никем. Я с Никитой так ничего и не сделал. Пожалел. А Иосиф Виссарионович Горького не пожалел.

Это я все точно знаю, потому что мне об этом сын Горького рассказывал. Как сейчас помню, звали его Максим Пешков. Теперь уж тоже помер, а когда-то еще жив был. Странно, правда, отец Горький, сын – Пешков. Это все равно как мой сын, Юрка, вдруг стал бы Андропов. Нет, я Андропова очень уважаю, я вам давно рассказывал. Но так-то уж зачем? Их бы еще и путать стали. Тот ведь тоже Юрка. И тоже еврей, который по матери.

И после смерти Горького сделали там музей. Доммузей. Чтоб больше уже никто не лез поселиться в таком шикарном особняке. А уж он пошкарнее, чем дом адмирала на Зюльте. И уж тем более – дом писательницы, что из-за Геббельса удавилась. Хотя кто сказал, что удавилась? Вилик не говорил. Покончила с собой – говорил. Удавилась – нет. Может, она утопилась в Северном море, где устричный хлеб собирают. Хотя какая мне, по правде сказать, разница. И вам тоже.

Я как-то попросил своих Москву Марии показать. Показывали, показывали. И завели однажды в этот доммузей. А дом шикарный. В Молдавии таких не бывает. Вот ей и понравилось. Давай, Леня – она меня Леней называет, нежнее, чем Никсон с Киссинджером и Вилли Брандт – я тут пока поживу. А ты мне за это время дачу на Рублевке подберешь.

Я возражать не стал. Да и Рябенко обрадовался – дом Горького хорошо охранять можно, изолировать, можно и тайно подъехать, чтобы никто не заметил. Ни консьержка какая, ни соседи по микрорайону.

У нас исполнительская дисциплина нормальная, не то что в Польше. Гришин написал письмо Демичеву, что мол, обветшал дворец-музей Алексей Максимыча, трудящиеся посетители жалуются, с потолка каплет, куски обваливаются, необходим срочный ремонт. Потому, значит, давайте закроем музей на 3 года, и все прореконструируем. Хотя, на самом деле, дом в состоянии прекрасном, со старинной мебелью, с камином. Но я же должен был Марию пристраивать! Если мужик, тем более – верховный главнокомандующий, на старости лет влюбился в молодуху, он должен что-то делать. А не мух над котлетами считать.

А там еще то хорошо, что и клавесин в доме есть, и целая арфа. А Мария же певица. Ей надо песни разучивать. Музей большой, никто никому не мешает. В квартире обычной не распоешься, даже если в цековском доме. Соседи нажалуются, а Генеральному секретарю потом разгребать. А мне когда разгребать? Собираюсь в ФРГ визит сделать, со Шмидтом потолковать. Про Зюльт как раз. Но я это вперед забежал. Старый-старый, а могу еще вперед забегать. Чазов, 78, дурак.

Так что ехать к Алексей Максимычу – это вы теперь знаете, что. А Суслов, старый конь чеченский, и не догадывается. И правильно – не надо ему догадываться. Он уже один раз депортацию проспал, зачем ему теперь догадываться.

Леонид Ильич сел в машину. Как на счастье, работало «Эхо Москвы». Социолог Левада – нет, точно Левада, я не путаю, вот откуда такая фамилия берется? – говорил. Говорил, мол, что 68 процентов телезрителей московской программы одобрили выступление Сахарова в передаче Познера. И теперь, по прогнозу, предвыборный рейтинг академика вырастет на 4-5 процентов, а рейтинг Генерального секретаря – упадет на 2-3 процента. За два месяца и две недели до выборов.

Генерал Рябенко хотел потише сделать, но я не дал.

Это, товарищи, пиздец. Не трындец, как мой внук бы сказал, а именно что настоящий, наш, советский пиздец. Марксистско-ленинский, как есть.

Я никогда не ругаюсь, но иногда приходится.

Это значит, с завтрашнего дня разрыв будет не десять процентов, и не двенадцать, как я только что понимал, а все пятнадцать. И не выиграть мне выборы, как своих ушей. Хотя уши свои я не выиграл, а от родителей в Днепродзержинске просто так получил. Но это уже неважно.

Ну уж нет. Я не хочу воевать в Афганистане. Сестра Любка против. Она говорит – ты все что угодно, Ленка, только ребят на смерть не посылай. Ты же сам смерть пережил, знаешь, что это такое.

Да, пережил, и еще не раз переживу.

И безо всякой Любки понятно. Леонид Ильич Брежнев – миротворец. Он, то есть я, прекратил все войны в Европе. Пробил Хельсинкские соглашения. ФРГ признала ГДР. И еще получу Нобелевскую премию мира. В крайнем случае, сам поеду в Осло, к норвежскому королю, и мы под лососика все и обговорим. Или под семужку, это как получится. Король – мой друг, он поможет. И еще Вилика с собой приглашу. Как лауреата, норвежца бывшего и норвежского мужа. Он-то уж точно не сдаст. В Вилике я уверен.

Какой же тут Афганистан? Никакого Афганистана.

К тому же с Афганистаном Олимпиаду можем сорвать. А сейчас задний ход уже не дашь. И так народ без сапог оставили.

У меня есть план. Вы еще совсем не знаете, какой, но есть.

Я вошел в дом Горького.

Мария встречала меня растрепанная, какая-то больше русая, чем всегда. И сильно, слишком пахло от нее молдавским кагором. Я-то кагором возбуждаюсь, но не стоит так поддавать. Молодая еще. Вон, дочка у меня. Не ровен час, Андропов ее посадит. Я ведь защищать не стану.

– Ленечка, я так рада! Я слышала, там с выборами все плохо.

Вот те раз. Что кагор делает. Зачем старику сразу с порога плохие вещи говорить?

Генерал принял пальто.

– Послушай меня, Мария.

Мы сидели в комнате с клавесином и арфой. Большой комнате, метров сорок. За окном оставалось темно и сухо, как в склепе овощной базы.

– Я все решил. Я 31 декабря, под самый Новый год, уйду в отставку.

– В отставку? Зачем?

Мария вздернула брови, и полно открылись пьяные глаза.

– В полдень. В 12 часов, одним словом. Я завтра договорюсь с Лапиным. Выступлю. Скажу. Дорогие друзья, за 15 лет у нас громадные успехи. Я сделал для вас все. Пора дать дорогу молодым. Будет Андропов. Но я не так сделаю, как сейчас. Чтобы не зазнались они. Андропов – только генсеком. А на Верховный Совет поставим другого человека. Черненко, наверное. Он баллотируется по твоей Молдавии, пройдет. Должно быть. Куда деваться. У вас же там нет академика Сахарова. А Верховное главнокомандование сделаем коллегиальное. Отдадим Совету обороны.

Я сидел на кожаном кресле, которое специально для меня сюда и подвезли. С самого начала. Мария – на стуле вдовы Алексей Максимыча. Это то, что венский стул называется. Может, нехорошо, что мужик в кресле, а баба – на венском стуле. Но мужик-то малек постарше. 120 кг живого веса и ноги больные. Такой на венском стуле и не усидит. А если провалится венский стул под верховным главнокомандующим, все еще верховным главнокомандующим, некрасиво выйдет. Соседи не увидят, но все равно – скандал.

Мария то ли начала трезветь, то ли искала мизинцами новую рюмку. Почему мне кажется, что она русая, а не брюнетка, в какую влюбился? И лицо не такое выпуклое. Это от освещения, наверное. Горький любил сумерки, а с тех пор схему подсветки и не меняли.

– Ленечка, как же ты уйдешь, если меня для «Голубого огонька» уже записали? А теперь ведь выкинут, вырежут. Если ты Генсеком не будешь.

Откуда ты пигалица, 25-летняя, так уже в жизни пытаться разбираешься? Или наоборот.

– С чего ты взяла, дуреха? Андропов – мой друг, Черненко – еще больший друг. Да и Лапин никуда не девается. Никто ничего не вырежет.

– Нет, Ленечка.

Она вскочила и подумала, где графин.

– Со мной-то что будет, когда ты уйдешь? Ты подумал?

Вот-вот, самое интересное.

– Вот-вот, это самое интересное. Я тут домик хороший присмотрел. В Германии, на острове Зюльт. Зэ, ю, лэ, мягкий знак, тэ. Слышишь, сколько букв знаю, и даже мягкий знак. Не домик даже, а дом. Почти как этот. А может, и лучше этого. Купим дом и отправимся туда жить. Я уже и с канцлером Шмидтом все согласовал.

Приврал, но неважно.

– Какой остров в Германии? Что ты такое говоришь, Леня? Где там остров?

– На Севере, в Северном море.

– Там же холод собачий.

Пухлыми пальцами она себе налила. Мне даже не предложила. Ну и ладно. Я ведь запах кагора люблю, а не так чтоб особенно внутрь употреблять. Хотя, когда причастие, вкусный был.

– Тепло, всегда тепло. Не как у нас.

– Ну как же на Севере тепло может быть? Это ж не Молдавия.

Она выпила, и мы помолчали.



Пошла дальше.

– Так ты хочешь уйти на пенсию, и чтобы я с тобой в Германию поехала?

– Именно так и хочу, Мария. Официально предлагаю. Чтоб мы с тобой зажили вместе в роскошном доме на острове Зюльт. Прямо на берегу моря. Купаться каждый день можно. Но самое важное – устриц там завались. Обожремся устрицами. Лучшими устрицами.

Хотел полюбоваться на произведенное впечатление.

Она схватилась руками за немытые волосы. Вот – немытые. Неприятно. Но ладно. Очень много времени на распевки уходит. Репетиции. С арфой и клавесином.

– Что-то ты не продумал, Леня.

Сурово, и уже не «Ленечка». Словно даже трезвеет.

– Я молодая женщина, а тебе-то уже. Сколько осталось. Три года? Пять? Ты о карьере моей подумал? Если что-то на острове с тобой случится, блядь, я там одна буду по этому дому метаться? Или мне в море утопиться? Или канцлер твой на мне женится?

Да. Вот так. Не люблю, когда женщины матерятся. Сам почти нет, и бабам никогда не давал. Особо.

А писательница, видать, действительно утопилась, раз про нее Мария вспомнила. Вот что любовь к женатому мужчине с человеком делает.

Карьера... Карьеру твою я и начал. Не помнишь? Но напоминать, попрекать не буду. Несolidно. Не для председателя президиума.

Я задумался. Перебить она не давала. Мария.

– Я сейчас на заслуженную артистку иду. Что, от всего отказаться?

Уже почти истерика. Не хочу. А заслуженную артистку я тебе и сделал. Молдаване написали письмо в министерство, и – пошло-поехало. К весне должны дать, к твоему дню рождения. Мой подарок.

– Мария, дорогая.

– Подожди, Леня. А на что мы там жить будем? Тебе канцлер денег даст?

Привязалась к этому канцлеру, черт.

– Во-первых, у меня персональная пенсия. На уровне зарплаты члена Политбюро.

– Ты издеваешься, Леня.

У нее глаза то зеленоватые, то голубеют. Это Горький так освещение придумал.

– Ты знаешь, сколько твой гребаный рубль на черном рынке стоит?

Рубль – не мой, и не гребаный. Твердая валюта вполне. И при чем здесь черный рынок вообще?

– Я тебе, Мария, другое скажу. Я знаю, как быстро <sup>97</sup> миллион дойчмарок заработать.

Она так заулыбалась, что точно тошно.

– Так ты, оказывается, большой бизнесмен, Ленечка.

– Может, и не бизнесмен, но большой. Послушай меня три минуты, не перебивай. Я напишу воспоминания. Мемуары напишу. И там такое расскажу, что все издательства западные сразу купят. Я за свои первые воспоминания 127 000 рублей получил. Все детям отдал.

Своим ли, чужим ли – какая уж теперь разница. Тем более – вам.

– И что ты там такое напишешь? Про Малую Землю что-нибудь?

– Нет. Про Малую Землю уже все написал. Хватит. Напишу, как мы Хрущева убить хотели. Отравить. Зверской водкой от алтайских товарищей.

Она как будто завелась в танце. Скакала вокруг моего кресла, как подорванная. Улыбка не исчезала. Запах кагора множился снежной бурей.

– Вы – это кто?

– Мы – это я, Подгорный и Семичастный. Мы с Подгорным придумали. Семичастный исполнял. Привезли с Алтая водку от тамошних товарищей. Добавили тазепамчику. Я бы

сейчас нембутальчику добавил, а тогда не знал просто, что такой есть. Никита бы выпил – и привет.

Мария остановилась.

– Ты представляешь, как западники за эту историю ухватятся! Миллион дойчмарок минимум. Мне канцлер Брандт сказал. Вилик мой. Вилочка.

Хотя он давно уже никакой и не канцлер. И не говорил про мемуары ничего. Но дом он показал. Прямо рязанскими перстами. И Зюльт показал тоже.

Мария остановилась и успокоилась.

– Вилочку твою я не знаю. И этих двух мудаков тоже. Вот который пальто за тобой носит – это не Семичастный?

Я промолчал. Она отошла от меня и села за круглый стол, поодаль. Где был графин. Налила себя новую рюмку. Овальные щеки блестели, как костюмы канцлера Шмидта.

Леонид Ильич все еще ждал, что скажет Мария.

– У меня концерты. В феврале, марте. Гастроли. Шестнадцать городов. А я правильно поняла, ты сказал, вы там со своими человека убить пытались?

– Правильно. И убили бы обязательно. Передумали в последний момент.

– А че передумали?

– Никита сам ушел. В смысле, с должности ушел. Согласился написать заявление. Не было уже смысла травить.

Она поднялась с кагорного стола, как тысячеликая вдова Горького, народная артистка СССР.

– Леня, ты сволочь! Как ты смеешь мне такое рассказывать!

В этой ярости она снова превратилась в брюнетку. Ту самую.

– Ты старый мудака! Он предлагает мне ехать на остров, чтоб все знали, что я с убийцей живу. Потом он скоренько поддыхает, а я остаюсь без всего. Дом дети забирают, миллион дойчмарок – вдова. А я – без карьеры, без денег, без друзей, без родителей. Как блядь дешевая. И весь мир на меня пальцем показывает. Вот, смотрите, на хуй, какая дура набитая!

И даже не спросила, может, я люблю ее. Может, с женой разведусь прежде, чем поехать на Зюльт. Навсегда.

– Я не хочу тебя больше видеть. Уходите, Леонид Ильич.

Легко слышать «уходите» человеку, у какого ноги почти не ходят.

И, вдогонку:

– Если хочешь выкинуть меня из этого мудацкого дворца, выкидывай скорее! Все равно он пустой и холодный. Тут привидения ходят. Кто-то кашлял третьей ночи. А вчера тараканов целый полк из-под кухни вылез, блядь. Я так орала, что соседние дома чуть не проснулись. Я лучше в Кишинев вернусь, чем здесь останусь!

Генерал подал пальто, а полковник – руки.

Леонид Ильич ничего не заметил и не подчеркнул, а только вышел из дома Горького.

На вечерний снег. Сел в машину. Поехали – и в Заречье.

Но я подумал. Нельзя ведь допустить, чтобы кто-то даже пытался или там надеялся диктовать свою волю первому в мире социалистическому государству. Особенно, что касается США.

Милосердие наше огромно, а силы неисчислимы. Четыре миллиона только советских войск. А с Варшавским договором – бездна и прорва.

Я решил.

Мы поможем Афганистану. Как они просят. Капиталистический реванш отменяется. Войдем в Кабул. О, запомнил. Я сам туда поеду и выступлю на балконе. И народ зайдется от радости, как дети на новогоднем утреннике.

А потом мы отправимся в Индию. Там нас тоже ждут. И мы еще дойдем до Ганга, и мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя. Я стихов не знаю, но в юности пяток-десяток выучил. Вот это вот зазубрил. Маяковский, что ли? Неважно.

И Нобелевскую премию мира я получу. Потому что я установил мир в Европе. Прочные границы. Никаких войн. А Афганистан – он не в Европе. И Индия тоже.

Но если даже так и не получу – не беда. За Афганистан мне орден Победы дадут. Это гораздо круче.

А что за Индию дадут – даже представить страшно.

И, конечно, в этот самый ответственный момент истории я не могу бросить все на произвол судьбы. Я должен остаться главой Советского государства и довести дело до конца. До самого конца.

Сестра Любка против войны, но я ей объясню. Она думает, будет много крови. Не будет. Афганцы еще выбегут нас приветствовать. Они мирные люди. И с индусами договоримся.

С Олимпиадой пролетим? Миллиарды сэкономим. Народу сапоги купим.

Мы – ядерная сверхдержава, и нам не пристало робеть. Лажовые академики, что в наших распределителях отовариваются, – не помеха нам. Ни секунды.

Кому позвонить – Александрову или Черненко? Черненко, конечно. Какой Александров?

– Костя, слушай. Извини, что поздно. Завтра на десять утра – срочное совещание у меня на даче. Андропов, Устинов, Суслов, еще Громыко. Ну, и ты подходи заодно, ясное дело. Подъезжай. Передай им всем прямо сейчас: по Афганистану я все одобрил. А Суслову скажи отдельно – я весь план по Афганистану утвердил в полном объеме. В полном. Весь. Ты меня понял?

Вот уже Триумфальная арка. Мы такую же в Дели поставим, на главной площади, перед мавзолеем, в ознаменование нашей великой Победы. Придет русский человек прямо в Индию, никуда не денется. Мечтал – и придет. Для того я здесь столько лет и надрываюсь.

И Храм еще восстановим. На месте бассейна «Москва». Вот увидите.

Жидовской бричкойо неся чернй лимузин верховного главнокомандующего по леденеющей Москве, и спасенные христианские младенцы разлетались от него всем хлопотом белых крыл.

## **Покаяние. Пьеса в двух действиях**

Игорь Тамерланович Кочубей, 50–55 лет, премьер-министр на пенсии.

Мария, она же Марфа, его жена.

Борис Алексеевич Толь, 50–55 лет, президент Корпорации вечной жизни.

Евгений Волкович Дедушкин, 75–80 лет, президент Академии рыночной экономики, профессор.

Гоцлибердан.

Пол Морфин, 37 лет, иностранный журналист.

Анфиса, она же Нозми, 20 лет, переводчик.

## Первое действие

### I

*Мария, Кочубей.*

МАРИЯ. Он повадился вставать в шесть утра. Встает, пьет водку до девяти, потом снова ложится. А мне же на работу. Он думает, что я сплю. Но я не сплю. Я все вижу и слышу. Я не могу спать, если он сидит в столовой. И пьет. Я тоже живой человек. На работу. Уже полдевятого. Господи ты Боже мой...

*Кочубей.*

КОЧУБЕЙ. Марфуша, ты чего не спишь? Иди поспи еще, рано. Сумерки.

МАРИЯ. Мне через полтора часа на работу, чего ложиться. Не засну ведь. Хочешь чаю?

КОЧУБЕЙ. Да нет, спасибо. У меня все есть. Колбаски только не хватает. Ты брауншвейгской не купила?

МАРИЯ. Не успела вчера. Жуткая суета. Подарки, шмодарки. Тебе нельзя брауншвейгскую. Сплошной жир. Холестерин. Скоро Новый год. Холестерол. Как правильно.

КОЧУБЕЙ. Да, нельзя. Под водочку хорошо идет. Ты поедешь – я засну.

МАРИЯ. Сил нет, Игоряша.

КОЧУБЕЙ. Да уж, давно нет.

МАРИЯ. У кого сил нет?

КОЧУБЕЙ. А ты про кого?

МАРИЯ. Я – про себя.

КОЧУБЕЙ. А я – про всех нас. Сил вообще не осталось. Чего-то не осталось. Так, бывает, поищешь с утра силы, и...

МАРИЯ. О чем вы вчера говорили с батюшкой? Кочубей. С батюшкой?

*Пауза.*

*Пристально смотрят друг на друга.*

МАРИЯ. С батюшкой.

КОЧУБЕЙ. Про земельный участок.

МАРИЯ. Про какой участок? Наш?

КОЧУБЕЙ. Нет, про его. Про его участок.

МАРИЯ. У него разве есть участок?

КОЧУБЕЙ. Ну, не у него как такового. Участок, где храм.

В Жирафьей Канавке.

МАРИЯ. А что он хочет?

КОЧУБЕЙ. Там земля до сих пор не оформлена. Документов ему не выдают. Уже два года не выдают. А люди тем временем всякие ходят. Он очень боится, что отберут. Под элитное жилье, то-се.

МАРИЯ. Так храма ж толком нет до сих пор. И какое в Жирафьей Канавке элитное жилье? Это у черта на рогах. Выселки.

КОЧУБЕЙ. Маленький храм-то есть. А большой – потом будет. Построим.

МАРИЯ. Что значит «построим»? Кто «построим»?

КОЧУБЕЙ. Не волнуйся. Он построит. Он сам построит.

Мы поможем.

МАРИЯ. Он снова просил денег?

КОЧУБЕЙ. Не просил. Я сам предложил. На большой храм. Он тогда и сказал, что земля никак еще не оформлена.

МАРИЯ. Игорь.

КОЧУБЕЙ. Твое здоровье, родная.

МАРИЯ. Игорь.

КОЧУБЕЙ. Да.

МАРИЯ. Ты помнишь, что у нас Серебряный Бор стоит пустой пять лет. Все уже построились, и только мы...

КОЧУБЕЙ. Тебе разве здесь неуютно? Ты всегда говорила, что любишь наши Сумерки.

МАРИЯ. Ты не помнишь, что я говорила. Это очень далеко. Я еду на работу два часа. Вчера ехала два пятнадцать. Даже два двадцать. У меня затекают ноги. Варикозное расширение. Вены болят. Это добром не кончится. Игоряша.

КОЧУБЕЙ. Да, надо начинать строиться. Ты не знаешь, где Ревзин?

МАРИЯ. Ревзин на биеннале в Берлине. На что будем строить, если все деньги отдавать батюшке?

КОЧУБЕЙ. Ну что ты, какие все деньги? Что ты говоришь такое?

МАРИЯ. Все.

КОЧУБЕЙ. Ну почему все? Твое здоровье. За варикозное, что ли.

МАРИЯ. Ничего смешного. Мне через сорок минут выезжать. Филька уже тут. Вон дым, прогревается. Ты мне на день рождения подарил брошь за триста долларов. А батюшке в прошлом месяце, под ноябрьские, отдал двадцать семь тысяч. Пока что двадцать семь тысяч. Если я знаю все, конечно. А я могу всего и не знать.

КОЧУБЕЙ. Тебе не понравилась брошка? А докторская там еще есть?

МАРИЯ. Докторская есть. Мы могли уже давно жить в Серебряном Бору. И ездить на работу за полчаса. Ты хочешь дать денег на новый храм? Это безумные деньги. Там кроме тебя кто-нибудь помогает?

КОЧУБЕЙ. Все помогают. Все.

МАРИЯ. Кто все? Там кроме тебя и нет никого. Бабки какие-то безумные. Я видела.

КОЧУБЕЙ. Ты ж сама сказала, что для храма нужны безумные бабки. Вот они там и собираются.

МАРИЯ. Это не смешно, Игоряша. Уже не смешно.

*Пауза.*

КОЧУБЕЙ. Да, не смешно. Ровно девять, ты слышишь.

МАРИЯ. Я в сто двадцать пятый раз отказалась ехать к Гоцам. Потому что мне стыдно. Стыдно и обидно. Я не могу, понимаешь. Я один раз была в гостях у Толей, а теперь делаю вид, что некогда. Они спрашивают, почему не строитесь, и что я им должна говорить? Про батюшку?

КОЧУБЕЙ. Ты думаешь, мы построились бы на двадцать семь тысяч? Это стоит миллионы.

МАРИЯ. Я устала, Игорь.

КОЧУБЕЙ. Сейчас утро. Ты не должна уставать с утра. Вот переживем зиму, и займемся стройкой. Точно займемся.

МАРИЯ. Дома или храма?

*Кочубей. и того, и другого.*

МАРИЯ. Ничего не выйдет, как всегда. Сколько лет мы живем здесь?

КОЧУБЕЙ. Здесь очень хорошо. Нет людей, и птицы громко поют, потому что не боятся. А вот у Гоца дом довольно безвкусный. Пластмассовый камин, фальшивый дикий камень. Мне там не нравится.

МАРИЯ. А у Бориса дом прекрасный. Со вкусом.

КОЧУБЕЙ. Его жена с большим вкусом. Пока не умерла.

МАРИЯ. Типун тебе на язык! С каких это пор умерла.

*Пауза. Смотрят.*

*Двигатель внутреннего сгорания.*

КОЧУБЕЙ. До сих пор жива. До сих пор...

МАРИЯ. Может, пойдешь отдохнешь?

КОЧУБЕЙ. Сейчас пойду. Тебя провожу и пойду.

МАРИЯ. Вы что, пьете там со святым отцом твоим? КОЧУБЕЙ. Ну конечно, нет. Он же якут, ему нельзя пить. У них гены такие, что нельзя. Выпьешь – и сразу отек легкого. Спиваются молодыми, двадцати семи лет.

*Наливает.*

*Трупы, сплошные трупы.*

МАРИЯ. Тебе тоже нельзя. Но ты же пьешь, Игоряша. Так уже больше нельзя. На это уже обращают внимание. КОЧУБЕЙ. Кто обращает внимание?

МАРИЯ. Все.

*Острый звук клаксона.*

Филька сигналит. Надо ехать. Скоро ехать. А я еще не помыла волосы. Черт знает что, ей-богу.

КОЧУБЕЙ. Во мне веса 115 кило. Я могу много выдержать.

Мне положено. На килограмм веса. Массы тела то есть. МАРИЯ. А в батюшке?

КОЧУБЕЙ. Что в батюшке?

МАРИЯ. В батюшке твоём сколько веса?

КОЧУБЕЙ. Он щуплый. Ну, я не знаю. Килограмм 70, не больше.

МАРИЯ. 70 – это не щуплый. Щуплый – это 55. 60 максимум.

КОЧУБЕЙ. Это у женщин. А что, у мужчин тоже? Нет, тут что-то не то. Путаница какая-то.

МАРИЯ. Ты помнишь, сколько я вешу?

Кочубей оборачивается.

КОЧУБЕЙ. 66.

МАРИЯ. Великолепно. Ты не помнишь.

КОЧУБЕЙ. Зато я купил тебе новый фен. Подарок. На Новый год. Новый прекрасный «Браун».

МАРИЯ. Спасибо, дорогой. Это лучший подарок. А то украшений было уже слишком много.

КОЧУБЕЙ. Дешевых, за триста долларов.

МАРИЯ. Каких уж есть. Надеюсь, ты не покупаешь батюшке кресты?

КОЧУБЕЙ. Один купил. В лавке у Исторического музея. Меньше, чем твоя брошь.

МАРИЯ. Такой маленький? Где же он его носит, мне интересно.

КОЧУБЕЙ. Нет, крест большой. Но недорогой. Я по деньгам имел в виду.

МАРИЯ. Имел в виду.

КОЧУБЕЙ. По деньгам. По цене.

МАРИЯ. Он не сказал тебе, что нельзя столько пить?

КОЧУБЕЙ. По деньгам.

МАРИЯ. Ты меня совсем не слушаешь?

КОЧУБЕЙ. Я очень слушаю. Хлебцы закончились...

МАРИЯ. В погребе полно. Тебе надо ложиться. Вечером прием у финнов. Ты не забыл?

КОЧУБЕЙ. У каких финнов? В посольстве?

МАРИЯ. О, Господи. Я тебя говорила вчера семь раз. В посольстве. Приехал министр экономики. Визит. Звонил Евгений Волкович, он собирается там быть. И очень хотел переговорить с тобой.

КОЧУБЕЙ. Очень милый старик. И все еще жив. Все еще.

Вот ведь как бывает.

МАРИЯ. Так ты пойдешь?

КОЧУБЕЙ. Я пока не знаю. Я сначала посплю, а потом решу. Там и решу.

МАРИЯ. Ты там самый почетный гость. Финны обидятся.

КОЧУБЕЙ. Они не помнят обо мне. То есть – про меня. Обо мне помнят, а про меня – не помнят. Твое счастье, дорогая.

МАРИЯ. Ты хотел сказать – мое здоровье?

КОЧУБЕЙ. Конечно. Твое здоровье.

МАРИЯ. Не ходи за хлебцами. Тебе уже хватит. Иди лучше спать.

КОЧУБЕЙ. А когда звонил Евгений Волкович?

МАРИЯ. Вчера. В три часа дня. Я была на работе.

КОЧУБЕЙ. А почему ты мне не сказала?

МАРИЯ. Ты не помнишь, почему я тебе не сказала? Кочубей, я не помню.

МАРИЯ. Я – помню. Я тебе девять раз говорила. Но ты уже не мог слушать.

КОЧУБЕЙ. Он всегда звонит тебе на мобильный.

МАРИЯ. Не всегда. Иногда. Он не надеется тебе дозвониться.

КОЧУБЕЙ. Он хотел поговорить со мной?

МАРИЯ. Нет. Он просто хотел передать про финское посольство. Что он там будет и страшно обрадуется, если ты туда доедешь. Дойдешь.

КОЧУБЕЙ. Евгений Волкович. Да-да.

МАРИЯ. Иди спать. Я возьму твой фен.

КОЧУБЕЙ. Твой фен. Не мой.

МАРИЯ. Я воспользуюсь моим феном. Своим феном. Или как еще там. Я опаздываю.

КОЧУБЕЙ. Пора, Марфуша. Пора.

*Пауза.*

Да, забыл сказать. Отец Гавриил посоветовал пить виски вместо водки. Не так быстро получится. Меньше греха в единицу времени.

МАРИЯ. Это какое-то издевательство. Наверное, у якутов такой юмор. Ты помнишь, как отравился ирландским виски? В самолете – ты помнишь.

КОЧУБЕЙ. В виски можно добавить побольше льда. Кусочка четыре или даже шесть. И тогда кажется, что доза – двойная или тройная. А она – одинарная.

МАРИЯ. Ты помнишь, как тебя откачивали в самолете?

КОЧУБЕЙ. Виски, если со льдом, меняет цвет. Особенно ирландский. Становится легким, как яблочный сок. На завтраке в гостинице. Хорошо на завтраке в гостинице. Особенно скрэмблд еггз. По-немецки они называются рюрайер. Смешно. Забавно так. И яблочный сок.

МАРИЯ. Я пошла с головой. Не сиди больше, Игоряша.

КОЧУБЕЙ. Я помню. Пора, Марфуша. Честное слово.

## II

*Толь, Дедушкин, Гоцлибердан.*

ГОЦЛИБЕРДАН. Звонила Маша.

ТОЛЬ. Что там?

ГОЦЛИБЕРДАН. Дела хуевато, мягко говоря.

ТОЛЬ. Что, пьет?

ГОЦЛИБЕРДАН. Не то слово. Ложится в два ночи, в шесть просыпается, выпивает бутылку водки, ноль семь, потом засыпает, потом обед, за обедом – полбутылки, потом спит час, ни хуя не делает, читает газеты, торчит в Интернете, часа четыре, ищет ссылки на свою



фамилию, потом ужин, снова бутылка – и так до двух. В город не выезжает. Поправился на восемь килограмм. Выглядит как бомж. Прислуга уже узнавать перестала.

ДЕДУШКИН. Вы про Игоря Тамерлановича, Гоценюка?

ГОЦЛИБЕРДАН. Естественно. Про кого же еще?

ТОЛЬ. Надо что-то делать.

ГОЦЛИБЕРДАН. Гениальная мысль. Надо что-то делать. Что, Боря? Если я тебе еще чего-то расскажу, ты под стол упадешь. Блядь.

ДЕДУШКИН. Гоценюка, не надо так ругаться.

ГОЦЛИБЕРДАН. Да разве я ругаюсь, Евгений Волкович? Интеллигентские присказки одни сплошные.

ДЕДУШКИН. Вы думаете, Игорь Тамерланович начал серьезно пить?

ГОЦЛИБЕРДАН. Начал он лет десять назад. А сейчас продолжает. И очень уверенно. Ленинским курсом. Видите, уже не ругаюсь.

ДЕДУШКИН. Как-как?

ГОЦЛИБЕРДАН. Слышите, Евгений Волкович, я уже не ругаюсь?! Не ругаюсь, ебашу мать.

ТОЛЬ. А почему я должен под стол упасть? Что там еще?

ГОЦЛИБЕРДАН. Потому что Игорь решил участок в Серебряном Бору отдать под собачий приют.

ТОЛЬ. В каком смысле?

ГОЦЛИБЕРДАН. В прямом, ебанный в рот. Построить там приют для бездомных тварей. На полгектара в Сербору.

ТОЛЬ. Что, в нашем поселке?

ГОЦЛИБЕРДАН. А в чьем же, ептыть? Другого участка у него нет.

ДЕДУШКИН. Молодые люди, где будет собачий приют? Я не расслышал.

ТОЛЬ. Где угодно, но только не у нас в поселке. Я рядом с собачьим приютом жить не собираюсь.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты хочешь сказать об этом Игорю?

ТОЛЬ. Нам нужно вместе к нему поехать. Договоримся, может, на выходные?

*Пауза.*

Это все поп?

ГОЦЛИБЕРДАН. Судя по всему, он. Машка точно не знает. Но Игорь-то от попа не вылезает. Керосинят прямо в церкви.

ДЕДУШКИН. Как это – керосинят?

ТОЛЬ. Евгений Волкович, может, вы позвоните Игорю Тамерлану? Вам удобнее всего. Он вас слишком уж уважает. Можно договориться, что мы подъедем в субботу. Переговорим. Все обсудим. Мы все втроем вместе. Вы же не любите священников?

ДЕДУШКИН. В каком смысле?

ГОЦЛИБЕРДАН. В прямом, профессор. В прямом. Вы же говорили как-то, что против попов. Против поповского засилья говорили. Что, дескать, в этом смысле вы большевик.

ДЕДУШКИН. А что значит дескать?

ГОЦЛИБЕРДАН. Дескать – это значит блядь, только попримечнее.

ТОЛЬ. Ну Гоц!..

ГОЦЛИБЕРДАН. Замолкаю, мой группенфюрер. Говори теперь ты.

ТОЛЬ. Понимаете, Евгений Волкович, наш Игорь попал под влияние одного священника. Некто отец Гавриил. Гавриил Сирийский. Молодой парень лет тридцати.

ГОЦЛИБЕРДАН. Если для точности – тридцати семи. Голимый аферист. Жулик. Увидел богатого и знаменитого человека первый раз в жизни. И – давай охмурять. Тамерлану ему уже обещал церквуху отстроить новую. Жди, Боря, придет к тебе за деньгами.

ТОЛЬ. Это ты от Маши узнал?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ясный перец, от нее.

ДЕДУШКИН. Простите, а что, Сирин – это такая фамилия? Или псевдоним?

ГОЦЛИБЕРДАН. Фамилия, блин. Видите, Евгений Волкович, как для вас стараюсь. Он сам из Якутии вроде. Поп этот. А у них там фамилии все через третью жопу. Вроде русские, а на самом деле кривые, как член пигмея. Вот так и получается. Поп Сирин и наш Алконост. Тамерланыч наш.

ДЕДУШКИН. Вы знаете, я, конечно, когда познакомился с Игорем Тамерлановичем лет уж двадцать, нет, двадцать пять почти назад, никогда бы не подумал, что он станет пить. Он был всегда такой рафинированный. Такой ухоженный был.

ГОЦЛИБЕРДАН. Рафинированный у него теперь спирт. Спиритус вини ректификати, итить его мать.

ТОЛЬ. Гоц, перестань перебарщивать.

ГОЦЛИБЕРДАН. Перестаю, мой повелитель.

ТОЛЬ. Ну так Евгений Волкович, вы же действительно всегда выступали против клерикалов.

ДЕДУШКИН. Как вы сказали – клеветов? Клеветников?

ТОЛЬ. Клерикалов. Лиц, агрессивно ратующих за религиозные ценности.

ДЕДУШКИН. Ах да, агрессивно. За религию. Да, я против. Но я не против священников. Среди них попадаются очень милые люди. Стали попадаться в последнее время. Мой ученик с кафедры восточной экономики стал священником. Три года назад. Крестился и стал.

ГОЦЛИБЕРДАН. Так не бывает, чтобы сразу крестился и стал. Крестился, наверное, давно. А стал – недавно. Это называется – рукоположен. А не крестился.

ДЕДУШКИН. А рукоположен – это разве не самоубийство?

ГОЦЛИБЕРДАН. Нет, это совсем другое. Хотя в каком-то смысле – самоубийство. Ебись оно конем.

ДЕДУШКИН. Как вы сказали?

ТОЛЬ. Гоц у нас стал слишком образованный.

ДЕДУШКИН. Вы думаете, он крестился еще у нас в университете?

ГОЦЛИБЕРДАН. Почему бы и нет?

ТОЛЬ. Видите ли, Евгений Волкович, мы с Гоцем читали Ваше интервью. Еще позапрошлой весной. В «Аргументах и фактах». И вы там ясно сказали, что против клерикализации общества. И что в этом смысле вы большевик. Вы помните это?

ДЕДУШКИН. Я – большевик? Вы действительно думаете, что я большевик? В каком смысле?

*Пауза. Напряженно всматриваются в зал.*

ГОЦЛИБЕРДАН. В том смысле, что вы хотите, чтобы безграмотный якутский поп тянул бабло из нашего Игоря Тамерланыча Кочубея? Средства тянул, понимаете? Деньги, блядь? Или вы за то, чтобы Игорь перестал пить, бросил заниматься херней и построил, наконец, у нас дом в Сербору? И переехал из своих Больших Сумерек раз и навсегда?

ДЕДУШКИН. Вы знаете, я всегда очень симпатизировал Игорю Тамерлановичу. И когда он был премьером, и до, и после. Он мне ведь почти как сын.

ТОЛЬ. Ну, так вот, Евгений Волкович. Надо вытащить сына. Это от вас прежде всего зависит.

ДЕДУШКИН. Какого сына, Боренька?

ТОЛЬ. Вашего. Вы только что сказали.

ДЕДУШКИН. Ой, вы, видимо, ослышались. У меня же одна дочь, Татьяна, вы знаете. И внучка Алисочка. Учится в нашей Академии. Почти на все пятерки учится. Радует деда.

И маму радует. Танечку то есть. Вот на Новый год поедет, наконец, на Гавайи. Отдохнет как следует. Сами понимаете. В таком возрасте надо отдыхать.

ГОЦЛИБЕРДАН. А почему наконец?

ДЕДУШКИН. А, Гоценька?

ТОЛЬ. Вы сказали, что Игорь Кочубей вам как сын.

ДЕДУШКИН. Ну, это я фигурально. Разумеется. У него же родной папа еще жив. Хотя старше меня лет на пять. А то и на семь. Нет, на семь. Не может быть, чтобы на пять. Он же воевал, значит, на пять. Вы не слышали, как здоровье Тамерлана Пурушевича?

ТОЛЬ. Тамерлан Пурушевич чувствует себя огурцом.

ГОЦЛИБЕРДАН. Только что женился четвертым браком. На Жанне Фриске. Знаете Жанну Фриске, профессор?

ДЕДУШКИН. Жанночку? Она же, кажется, училась у нас в Академии. На экономике запасов и залежей. Такая худощавая, черненькая. Папа у нее был завхоз ракетных войск или что-то в этом роде.

ТОЛЬ. Гоц!

ГОЦЛИБЕРДАН. Ладно. Шутка.

ДЕДУШКИН. Где вы сказали?

ТОЛЬ. Он пошутил.

ДЕДУШКИН. Пошутил? Нет-нет, я не пошутил. Действительно ракетных войск. Они мне подарили макет ракеты из сердолика. В натуральную величину. То есть не мне, конечно, а Академии. Я даже не знаю, где он теперь стоит, макет этот.

ТОЛЬ. Может быть, соединить вас сейчас с Игорем?

ДЕДУШКИН. С Игорем Тамерлановичем?

ГОЦЛИБЕРДАН. С ним. С Тамерлановичем.

ДЕДУШКИН. Но вы же сказали, он сейчас спит. Сейчас как раз обед. Полбутылки водки, вы сказали.

*Пауза.*

А потом – там всегда снимает трубку охранник. И разговаривает как-то очень не деликатно. Я в последнее время все больше звоню Машеньке. Чтобы передавать через нее. Вот и вчера звонил. Напоминал про прием в посольстве Финляндии. Да, сегодня же прием. Игорь Тамерланович туда приглашен. Я его там увижу и могу ему что-нибудь передать.

ТОЛЬ. Он не придет на прием.

ДЕДУШКИН. Почему вы думаете?

ГОЦЛИБЕРДАН. Он не думает, он знает.

ТОЛЬ. Там, в Больших Сумерках, наша охрана. Она разбудит его, если я попрошу.

ДЕДУШКИН. Да, но стоит ли? Если Игоря Тамерлановича разбудить, он будет изрядно раздосадован. Я ему сам позвоню, но попозже. Сразу после Нового года. Как раз он отдохнет...

ГОЦЛИБЕРДАН. До Нового года еще три недели, Евгений Волкович. А мы хотим с ним увидеться в субботу. В эту субботу.

ДЕДУШКИН. Но если он, как вы говорите, не придет сегодня в финское посольство, а потом еще три недели, то как же я ему позвоню? Загадка, честное слово.

ТОЛЬ. Евгений Волкович!

*Пауза.*

ДЕДУШКИН. Да-да, Боренька.

ТОЛЬ. Как там движется с приватизацией пансионата «Правды»?

ДЕДУШКИН. С чем-чем, Толенька?

ТОЛЬ. С пансионатом «Правды». В Сочи. Мне сказали, что все бумаги уже готовы, и только управление делами чего-то тянет.

ДЕДУШКИН. Пансионат «Правды». Да. Мы хотим там сделать цех-инкубатор для молодых экономистов. Восемнадцати-девятнадцати лет.

ГОЦЛИБЕРДАН. Чтоб они там плодились и размножались.

ТОЛЬ. Подожди, Гоц. Я хочу сказать, что мог бы позвонить в управление делами. Если вы хотите, конечно. По этому вопросу они меня послушают.

ДЕДУШКИН. Как вы думаете, молодые люди, может быть, мне одному съездить к Игорю Тамерланчу? В эту субботу. Машенька мне всегда говорила, что он любит меня, потому что я добрый старик. А добрые старики хорошо действуют на нервы.

ТОЛЬ. Это хорошая идея. Пожалуй.

ГОЦЛИБЕРДАН. У вас есть приличный повод?

ДЕДУШКИН. Повод? О, да. У моей внучки Алисочки еще нет последней книги Игоря Тамерланча. С дарственной надписью. И без дарственной – тоже нет. А ей скоро лететь на Гавайи. Как же она полетит без книги? Надо что-то почитать в самолете.

ГОЦЛИБЕРДАН. Да уж. Девять часов до Нью-Йорка, а потом до Гавайев – еще столько же. Без Тамерланчыча нашего никуда.

ТОЛЬ. Это прекрасная идея, Евгений Волкович. Когда поедете к нему, в субботу, то передайте следующее. Американцы приглашают его выступить с лекциями. Или нет – просто с выступлениями. Выступить с выступлениями. Ерунда какая-то, но все равно. На месяц. Недель на пять. Выступлений семь или восемь. Максимум десять. По два выступления в неделю. Без перенапряжения. Я дам ему свой самолет. Полетит с охраной. Жить будет только в любимых гостиницах.

ГОЦЛИБЕРДАН. Он любит всякие «Реле» и «Шато». Чтобы похоже на средневековые замки.

ТОЛЬ. Вот в таких жить и будет. Американцы платят по десять тысяч за выступление. Нет, я ошибся, – по пятнадцать тысяч за выступление. Этого достаточно.

ДЕДУШКИН. И когда же они его приглашают?

ТОЛЬ. Приглашают сейчас. А лететь – в январе. Скоро после Нового года.

ДЕДУШКИН. После Рождества?

ГОЦЛИБЕРДАН. Какой-то вы не такой большевик, Евгений Волкович.

ТОЛЬ. После Рождества.

ДЕДУШКИН. Значит, пять недель после Рождества?

ТОЛЬ. Пять. После.

*Гоцлибердан. Пять и после.*

ДЕДУШКИН. А больше они никого не приглашают?

ТОЛЬ. Пока не приватизирован пансионат «Правды».

Нельзя торопиться.

ГОЦЛИБЕРДАН. Американцы следят за этим.

ДЕДУШКИН. Я позвоню ему сегодня. Как мы расстанемся. Наверное, не надо, чтобы соединяли через вашу приемную. Если поеду я один. На дружеский обед. Как вы думаете, Игорь Тамерланович не проспит дружеский обед со мной? Я, кстати, сам люблю прикорнуть днем. У меня в Академии прекрасная комната отдыха. В стиле санатория «Болшево». Из шестидесятых годов, знаете ли. Когда я был референтом академика Арцибашева...

ГОЦЛИБЕРДАН. Говорят, Евгений Волкович, у вас новый «Лексус»? LS 600 hL?

ДЕДУШКИН. Кто-кто говорит?

ГОЦЛИБЕРДАН. Говорит молодежь. Студентики там, то-се.

ТОЛЬ. Студентики говорят.

ДЕДУШКИН. О, это же не мой «Лексус».

ТОЛЬ. А чей же?

ДЕДУШКИН. Это собственность Академии. Подарок. Одни родители подарили из Дагестана. Я их даже не видел, честно говоря. Родителей не видел. Один «Лексус» отдал в студенческий профком. А другой пока возит меня. Мне спину хорошо, знаете ли. Там, в «Лексусе», есть массаж. Сиденье прямо массирует спину. Я раньше на «БМВ» ездил, так там массажа же не было.

ГОЦЛИБЕРДАН. Не может быть, чтоб в новой «семерке» «БМВ» не было массажа.

ДЕДУШКИН. Не было – не было. Данечка! Честное слово.

ТОЛЬ. Он не любит, когда его называют Данечка.

ДЕДУШКИН. Гоценька разрешил мне называть его с любого места фамилии.

ГОЦЛИБЕРДАН. Разрешил. Называйте.

ТОЛЬ. Там, в «БМВ», вас, наверно, с комплектацией подвели. ДЕДУШКИН. Должно быть. Я как-то сразу почувствовал, что – как вы говорите?..

Гоцлибердан. С комплектацией.

ДЕДУШКИН. Да-да, с комплектацией что-то не то. А «Лексус» очень хорошо для спины. Мне ведь 76 лет. Через три месяца настанет 77. И все 77 давят на одну эту спину.

ГОЦЛИБЕРДАН. Когда поедете на мои похороны, не забудьте сделать массаж по дороге.

ДЕДУШКИН. Массаж по дороге? Именно, что по дороге. Не трачу теперь ни секунды лишнего времени. Еду на ученый совет, и...

ТОЛЬ. Хотите еще чаю, Евгений Волкович?

ДЕДУШКИН. Да-да, конечно, я поеду. Не стану вас больше отвлекать. Вы позвоните вскорости в управление делами, Борис Алексеевич?

ТОЛЬ. Завтра позвоню. А может, сегодня позвоню.

ГОЦЛИБЕРДАН. Как карта ляжет.

ДЕДУШКИН. Вы мне перескажете до субботы?

ТОЛЬ. Они сами вам перескажут.

ДЕДУШКИН. Как вы сказали?

ГОЦЛИБЕРДАН. Вы же большевик, Евгений Волкович. Как увидите сияние, охерительное, от одного края неба до другого, значит, – можно заезжать в пансионат «Правды».

ДЕДУШКИН. Может быть, еще чашечку чаю прежде, чем я поеду? Нынче холодно, настоящая царская зима. Так моя прабабушка говорила, Алиса Бруновна Энгельгардт. Царская зима – говорила она. В честь нее Алисочку назвали, внучку мою.

ГОЦЛИБЕРДАН. В честь зимы?

ТОЛЬ. Конечно, выпейте, Евгений Волкович. Сухари, пряники, все что угодно.

ДЕДУШКИН. А что я должен сказать про этого молодого священника?

ТОЛЬ. Ну, что мы не понимаем, как человек нашего образования и круга может столь увлекаться безграмотным попом. Им там говорить-то не о чем, я уверен.

ГОЦЛИБЕРДАН. Да, профессор, но это далеко не все. Безграмотный поп или не безграмотный – это полдела. Даже четвертьдела. Самое главное – что он агент ФСБ. Вырви глаз. Его специально подослали к Тамерланычу, чтобы узнать все тайны русского либерализма.

ДЕДУШКИН. Тайны русского либерализма? Какой кошмар!

ГОЦЛИБЕРДАН. Поп – полковник ФСБ. Даже не подполковник. С опережением графика получил звездочку. А знаете, почему?

ДЕДУШКИН. Почему, Гоценька?

ГОЦЛИБЕРДАН. Потому что охмурил нашего Тамерланыча, блядь. А Тамерланыч – крупная рыба. Они давно хотели к нему подобраться. Но никак не могли. Вот и подобрались, в конце концов. Через попу.

ТОЛЬ. Гоц, ты передашь Евгению Волковичу в пятницу все материалы?

ГОЦЛИБЕРДАН. Да, я передам Евгению Волковичу в пятницу все материалы.

ДЕДУШКИН. Какой прекрасный чай! Со времен моей первой тещи, Софьи Лазаревны Нимврод, я не пил ничего подобного.

*Стук каминных часов.*

Знаете, Боренька, что я хотел еще сказать.

*Тревога.*

Пришлите мне, пожалуйста, новую трость. А то эта износилась совсем.

ГОЦЛИБЕРДАН. Исходилась.

ТОЛЬ. А сейчас у вас какая?

ДЕДУШКИН. Сейчас – канадский клен, с хрустальным набалдашником. А мне хотелось бы – норвежский граб. С порфировым набалдашником. Вы запишете?

ТОЛЬ. Я запомню.

ГОЦЛИБЕРДАН. Я запомню.

ТОЛЬ. Мы запомним.

ДЕДУШКИН. Вы помните историю, откуда у меня такое пикантное отчество?

*Раскаты зимнего грома.*

ГОЦЛИБЕРДАН. В сто семнадцатый раз.

ТОЛЬ. Я всегда помнил, но сегодня утром почему-то забыл. ДЕДУШКИН. Да-да. Меня же регистрировали в провинции. Это было летом, на Волге. Недалеко от Саратова.

Мы на даче жили. Папа был командир пожарной охраны всего Среднего Поволжья.

ГОЦЛИБЕРДАН. Пожарных соединений.

ДЕДУШКИН. Пожарных соединений. Всего среднего Поволжья. Он был на работе. А бабушка старенькая понесла меня регистрировать. В ЗАГС. Ей имя сказали, какое выбрать: Женечка. А остальное – забыли сказать. А бабушка старенькая совсем. Неграмотная. Из деревни. Ее в ЗАГСе спрашивают: как по батюшке-то младенец будет? А у меня папа был по фамилии Волков. Федор Николаевич Волков. Бабушка и говорит: Волков. Отчество с фамилией перепутала. Тут ее спрашивают: а фамилиюто какую младенцу давать будем. Дедушкину, – отвечает бабушка. В смысле по дедушке. По материнской линии. Он у меня был Энгельгардт. Максим Карлович Энгельгардт. А они все перепутали. Из-за бабушки все. Из-за бабушки. Старая, слепая. Я должен был стать Евгений Федорыч Энгельгардт. А стал Евгений Волкович.

ДЕДУШКИН. Не переделывать же теперь. Правда?

Начинается настоящая декабрьская гроза.

*Охрана выносит Дедушкина.*

ГОЦЛИБЕРДАН. Для начала достаточно.

ТОЛЬ. Там, в Сумерках, – работают наши ребята?

ГОЦЛИБЕРДАН. Охраняют?

ТОЛЬ. Охраняют.

ГОЦЛИБЕРДАН. Наши.

ТОЛЬ. Поручи им пописать. С завтрашнего дня. И с хорошей техникой. Игорь любит, когда остается один, бормотать себе под нос. Вот в этом бормотании самое важное и есть. Нам обязательно надо знать, что он себе бормочет.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты можешь на меня обижаться, Борис, но там уже трое суток как пишут.

ТОЛЬ. Это отлично. А в церкви?

ГОЦЛИБЕРДАН. В церкви – пока нет. Все в низком старте. Ждет твоих указаний.

ТОЛЬ. А где эта церковь-то?

ГОЦЛИБЕРДАН. Жирафья Канавка. С видом на стадион «Тыловые запасы».

ТОЛЬ. Какая задница! Не мог себе попримечнее церковь найти.

ГОЦЛИБЕРДАН. Видно – не мог.

### III

Мария, Гоцлибердан.

ГОЦЛИБЕРДАН. Машка-Машка, привет-привет тебе.

МАРИЯ. Привет.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты, как всегда, страшно занята своей щенячьей работой?

МАРИЯ. Я устала немного. Что ты хотел, Гоц?

ГОЦЛИБЕРДАН. Не что, а кого. Ты же знаешь, Машка, я всегда хочу только тебя.

МАРИЯ. Перестань ерунду. Тем более по телефону.

ГОЦЛИБЕРДАН. Если этот телефон кто и слушает, то только наши. А наши никогда не расшифруют того, чего не надо.

МАРИЯ. У тебя какое-то дело?

ГОЦЛИБЕРДАН. У меня очень маленькое дело. Твой муж что-то собирался делать в январе?

МАРИЯ. Ты у меня спрашиваешь? Я не знаю, что он будет делать завтра. Хотя знаю – спать и пить. Вот что будет.

ГОЦЛИБЕРДАН. Он не поехал к финнам вчера?

МАРИЯ. Нет. Не поехал.

ГОЦЛИБЕРДАН. Но в церковь, к попу своему – он сегодня собирается?

МАРИЯ. Откуда ты знаешь?

ГОЦЛИБЕРДАН. Я не знаю, я спрашиваю тебя.

МАРИЯ. Про это мог бы узнать у него напрямую.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ну что ты. Я же такой деликатный. И потом – у меня есть ты. Такой упругой пизды я не помню за всю свою жизнь. Ни до, ни после.

МАРИЯ. Прекрати немедленно эту гадость.

ГОЦЛИБЕРДАН. Хотя после ничего и не было. Ты же не подозреваешь меня, что я сплю со своей женой.

МАРИЯ. Тебе поручено что-то конкретное?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты догадлива, как всегда. Боря просил узнать: сможешь ли ты отмотблизировать Тамерланыха, чтобы он в январе в Америку съездил. С выступлениями. О пользе и последствиях либеральных реформ. Пятнадцать тысяч долларов за выступление. Боря дает свой самолет. Охрану. Только лучшие гостиницы. И – никакого виски. Здоровый образ жизни. Английский язык круглосуточно. Фитнес-центр с утра. Чай «Эрл Грей» – на ночь. И – сон праведника. Так как?

МАРИЯ. Хороший вопрос. Ты думаешь, он выдержит целый месяц?

ГОЦЛИБЕРДАН. Это я тебя хотел спросить. Ты-то что думаешь? Выдержит? Даже не месяц. А пять недель.

МАРИЯ. Я так устала, что сама ничего не понимаю. Выдержит – не выдержит. Он плохо переносит долгие полеты, ты же знаешь. Помнишь ту историю с Ирландией. Пять часов, две бутылки виски. Его еле откачали. А здесь сколько?

ГОЦЛИБЕРДАН. Девять часов до Нью-Йорка. Потом пять выступлений на Восточном побережье, и четыре – в университетах. В Лиге плюща – как романтично звучит! Первые три дня – акклиматизация. Самое главное – собрать его. Чтобы не ушел в запой накануне. Американцы очень ждут. Они его очень любят.

МАРИЯ. Самое смешное, что я тоже очень его люблю.

ГОЦЛИБЕРДАН. Это неправда. Ты уговариваешь себя. Любить ты можешь только меня. Когда я касаюсь прямоугольной родинки на твоей правой груди. Это невозможно сыграть.

МАРИЯ. Прекрати эту баланду сейчас же.

ГОЦЛИБЕРДАН. Разве ты знаешь смысл слова «баланда»? Истинный смысл?

МАРИЯ. Ты хочешь, чтобы я сама сказала ему про Америку? А откуда я узнала?

ГОЦЛИБЕРДАН. Нет, блядь, я этого совершенно не хочу. Ужасающе, удручающе не хочу.

МАРИЯ. Не ругайся, пожалуйста.

ГОЦЛИБЕРДАН. К вам напросится в гости профессор Дедушкин. На субботу. Он и передаст.

МАРИЯ. Он, кажется, милый старик.

ГОЦЛИБЕРДАН. Борис подарит ему новую трость. Гималайский дуб с набалдашником хинганского перламутра.

И прямо с этой тростью милый старикан заявится к вам. В Большие Сумерки.

МАРИЯ. В субботу? А Игоря кто предупредит?

ГОЦЛИБЕРДАН. Сегодня старик проест ему всю плешь. Воскресит, как Иисус Лазаря. Там Боря пообещал профессору помочь спиздить одну недвижимость. Так дедуган готов расстараться по полной программе. Если Игоряшка будет в субботу хоть немного трезв, тебе – медаль.

МАРИЯ. Не ругайся. Я постараюсь. Но я уже ничего не могу сделать. Там что-то происходит.

Гоцлибердан. Там – это в церкви?

МАРИЯ. Там – это в голове Игоря. Он сидит целыми днями и бормочет себе под нос. Пока не заснет. А выезжает только к священнику. Мы уже полгода не были нигде в гостях.

ГОЦЛИБЕРДАН. Полгода – это не срок. А бормочет – это хорошо, что бормочет. Еще бы записать и расшифровать это – цены бы не было. Ты видела этого священника?

МАРИЯ. Один раз. Тощий молодой парень. Неприятный очень.

ГОЦЛИБЕРДАН. Священники вообще приятными почти не бывают. Так вот. Подготовь мужа, пожалуйста, к поездке в Америку. Самолет Корпорации вечной жизни. Не хрен собачий! А мы бы с тобой тем временем тряхнули молодостью. На недельку – в Доломиты, а?

МАРИЯ. Я с тобой больше никуда не поеду.

ГОЦЛИБЕРДАН. И меньше не поедешь. Конечно. Обсудим ближе к делу. У него сейчас есть хорошие костюмы?

МАРИЯ. Они будут малы. Он поправился.

ГОЦЛИБЕРДАН. Надо, чтобы до Рождества похудел. Или пару новых костюмов. И вспомнил английский хоть понемногу. Купи ему хорошие фильмы без перевода.

МАРИЯ. Я не знаю, как мы дотянем до Рождества.

ГОЦЛИБЕРДАН. Как-нибудь дотянете. Ты помнишь девяносто второй год? Вот когда было трудно. И ничего.

МАРИЯ. Я не помню. Это слишком давно.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты не можешь не помнить. Тогда я впервые соблазнил тебя в VIP-комнате ресторана «Феникс». Мексиканского ресторана. В здании Мосгорсправки.

МАРИЯ. Ты позвонил специально, чтобы обижать меня?

ГОЦЛИБЕРДАН. Я позвонил, чтобы сказать: ты первая женщина без очков, которую я полюбил. Я раньше не мог без очков. И только с тобою – смог.

МАРИЯ. Я хочу заказать контактные линзы.

ГОЦЛИБЕРДАН. Они тебе не нужны. Ты видишь лучше всех нас вместе взятых.

МАРИЯ. Я ничего не вижу. Какой-то туман перед глазами.

ГОЦЛИБЕРДАН. Это декабрь. В декабре бывают туманы. И снова осень пахнет тамерланом, дорога непроезжая черна, за полустанком или за туманом, как водится, не видно ни рожна... Все-таки самое прекрасное в твоём муже – это его отчество.



МАРИЯ. Он завтра будет в городе. Интервью. На работе. Я попробую одеть его в костюм. Не знаю, что выйдет.

ГОЦЛИБЕРДАН. Интервью? С кем?

МАРИЯ. Кажется, «Вашингтон пост». Я уже запуталась в этих названиях. У меня своей работы полно, в конце концов.

ГОЦЛИБЕРДАН. Не все скоту масленица, будет и «Вашингтон пост». Надеюсь, он не пьяный поедет?

МАРИЯ. Это я надеюсь, что не пьяный. К чему ты это, Гоц?

ГОЦЛИБЕРДАН. Если ты останешься в Сумерках, я мог бы заехать к тебе.

МАРИЯ. Я на работе. Ты должен повесить трубку, или я сделаю это сама.

ГОЦЛИБЕРДАН. Я все так же люблю тебя, моя киска.

## IV

*Кочубей, Пол Морфин.*

КОЧУБЕЙ. Откуда у вас такой хороший русский?

МОРФИН. О, спасибо. Не очень хороший. Я родился в России. Точнее, я родился в Советском Союзе. Я жил здесь до шести лет. И до шести лет говорил только порусскому.

КОЧУБЕЙ. Очень интересно. А кто ваши родители?

МОРФИН. Так, помните, спрашивали большевики: а ваши кто родители, что вы делали до семнадцатого года?

КОЧУБЕЙ. Нет-нет, что вы, я не в том смысле...

МОРФИН. Отец – шахматист. Мать – мещанка. Они уехали из СССР в 78-м году. Я учился в Америке. В школе, колледже и университете.

КОЧУБЕЙ. Как это – мещанка?

МОРФИН. Так по-русскому не называется? Вы слишком похвалили меня. Та, кто сидит дома и занимается домашним хозяйством.

КОЧУБЕЙ. Это домохозяйка.

МОРФИН. Да, домохозяйка. ДОМОхозяйка, так?

КОЧУБЕЙ. Домохозяйка. А вот мой отец был первый секретарь Ташкентского горкома партии. Еще молодым.

МОРФИН. Я хотел спрашивать вас про ваших родителей. Но не с самого начала. Но если вы уже заговорили, продолжайте, пожалуйста.

КОЧУБЕЙ. Продолжать? А куда?

МОРФИН. Дальше, прямо. Ведь ваш отец был из советской номенклатуры, не был ли?

КОЧУБЕЙ. В 39 лет он стал первым секретарем Ташкентского горкома партии. Это довольно молодой возраст по тем временам. Мы все жили в Ташкенте. Но мама очень хотела уехать в Москву, и он согласился на замминистра мелиорации. На понижение согласился. Хотя почему – был? Мой отец жив. Тамерлан Пурушевич? Он точно жив. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Хотите, я позвоню жене и узнаю? И уточню?

МОРФИН. Э-э-э... Единственное, в чем я уверен, – что мой отец мертв. Он умер 11 лет назад. Во время турнира в Гронингене. За шахматной доской. Испанская партия.

КОЧУБЕЙ. Людочка, соедини меня с Марией Игнатьевной!

МОРФИН. Давайте я пока спрошу вас. Ваша семья когда переехала из Ташкента в Москву?

КОЧУБЕЙ. Году в 71-м. Или 72-м. С возрастом память начинает немного подводить. Но немного. В основном я все помню. Я закончил школу. В 17 лет. Я 54-го года. Значит, это было в 71-м. Если бы отец остался в Ташкенте, он дорос бы до первого секретаря Узбекистана. А потом бы, после СССР, стал президентом Узбекистана. Кровавым тираном и дес-

потом. Узбекбаши. И вы бы брали интервью не у меня, у него. А я возглавлял бы Хельсинкскую группу и вызволял узбекских диссидентов. Пока отец не посадил бы меня в зиндан. Хороший сюжет, правда?

МОРФИН. А как было на самом деле? Вы сказали, ваш отец стал заместителем министра.

МОРФИН. На самом деле. Мама обязательно хотела, чтобы я учился в Москве. То есть чтобы я получил в Москве высшее образование. Не в Ташкенте. Меня направили в МГИМО. Московский государственный институт международных отношений. Тогда это называлось МИМО. Без Г. Просто Московский институт международных отношений. Я поступил по республиканской узбекской квоте.

МОРФИН. Что это значит?

КОЧУБЕЙ. Союзные республики имели квоты в московских вузах. Чтобы не дискредитировали нацменов. Вот я и пошел как нацмен.

МОРФИН. Нацмен – что это? Я слышал слово «нацбол».

КОЧУБЕЙ. Нацмен – это национальное меньшинство. Я пошел как узбек, хотя узбеком я не был. В общем-то, я и сейчас не узбек. Я даже меньше узбек, чем тогда. А «нацбол» – это что?

МОРФИН. Нацбол – это национал-большевик. Лимонов – слышали?

КОЧУБЕЙ. Какая-то гадость, да-да. Они, кажется, забрызгали мне костюм майонезом в Манеже. Когда я выступал. В честь открытия выставки «300 лет русского либерализма». Хороший был костюм, «Патрик Хельман». Так и не отстирался. Жена говорит, так и не отстирался. Людочка, ты соединяешь с Марией?

ГОЛОС НЕВИДИМОГО СУЩЕСТВА. Мария Игнатьевна обещала перезвонить через семь минут.

КОЧУБЕЙ. Отменно. Великолепно. Вы что-то спрашивали?

МОРФИН. Я спрашивал, как ваш отец поехал в Москву.

КОЧУБЕЙ. Мама хотела, чтобы я учился в МИМО. А раз я там учился, то и семья должна была оказаться в Москве. Я был на втором курсе. Отец перевелся на должность заместителя министра мелиорации. Это было ниже, чем первый секретарь столицы союзной республики. Но зато нам сразу дали трехкомнатную квартиру. В кирпичном совминовском доме, на Больших Каменщиках. А потом папа дорос до завотделом сельского хозяйства ЦК. Уже при Горбачеве. И нам дали новую четырехкомнатную квартиру. В цэковском доме на Патриарших. Вот так примерно. А старую при том – не забрали.

МОРФИН. Ваш отец дружил с Горбачевым?

КОЧУБЕЙ. Дружил? Наверное, нет. Он по линии Минмелиорации часто ездил в Ставрополь, где Горбачев был первым секретарем. Они ценили друг друга. Когда Михал Сергеевич стал секретарем по сельскому хозяйству, он пригласил папу заместителем заведующего отделом. А когда стал генсеком, папа сделался завотделом. Такая примерно история. Личной дружбы не было. Мои родители никогда не были у Горбачева дома.

МОРФИН. Есть версия, что Горбачев помог вам стать редактором экономики газеты «Правда».

КОЧУБЕЙ. Это чепуха какая-то.

МОРФИН. Почему? Разве было не так?

КОЧУБЕЙ. Я не знаю, кто продал вам эту версию...

МОРФИН. Я получил ее бесплатно. Свободно, как у нас говорят.

КОЧУБЕЙ. Я понимаю. Это так у нас говорят, что продали. Но к моему приходу в «Правду» Горбачев никакого отношения не имел.

МОРФИН. А как же это произошло?

КОЧУБЕЙ. Очень просто. Я сидел в своем кабинете. В Институте экономики Академии наук. Маленький кабинет, метров 11, в лучшем случае – 12. Я был заведующим лабораторией. Раздался звонок. Это звонил телефон. Главный редактор газеты «Правда». Он пригласил меня приехать и стать редактором отдела экономики. Вот и все.

*Страшный, уничтожающий звонок.*

ГОЛОС НЕВИДИМОГО СУЩЕСТВА. Игорь Тамерланч, это Мария Игнатьевна.

КОЧУБЕЙ. Машуля, ты давно разговаривала с папой? Ну да, с Тамерланом Пурушевичем. С моим папой. Что ты говоришь?!

Спасибо. Спасибо огромное. Я скоро позвоню. Сейчас интервью, а потом позвоню. Пока, любимая.

МОРФИН. Что-то случилось?

КОЧУБЕЙ. Оказывается, Тамерлан Пурушевич сломал лодыжку на запястье. Позавчера. И жена мне говорила, но я не расслышал.

МОРФИН. Очень хорошо. Он жив.

КОЧУБЕЙ. Он действительно жив. Я не ошибался. Так про что вы спрашивали?

МОРФИН. Мы говорили, как вы стали редактором «Правды».

КОЧУБЕЙ. Да, совершенно сам собою стал.

МАРИЯ. Вы ведь были очень молоды, не так ли. Это в каком году случилось?

КОЧУБЕЙ. В 89-м. Мне было 35 лет. Не такая уж юность, позвольте заметить.

МОРФИН. Но для главной газеты ЦК это было молодо. Вы принадлежали к большой советской номенклатуре. К тому же вы были официальный экономист. Вы чувствовали, что экономика СССР неэффективна? Что она идет к краху?

КОЧУБЕЙ. Я не просто чувствовал – я знал. Не забывайте, что я был заведующим лабораторией марксистско-ленинского анализа. В Институте экономики Академии наук. И я имел доступ к закрытой информации. А закрытая информация была шокирующая. Я точно знал, что советскую экономику ждет крах. И если бы СССР не распался политически в 91-м, он рухнул бы экономически году в 93-м. В 94-м максимум.

МОРФИН. Вы знали про крах. А почему вы пошли работать в основную газету ЦК Компартии?

КОЧУБЕЙ. Я не очень понял ваш вопрос. Что значит почему?

МОРФИН. Я хотел сказать, что вы, возможно, могли бы уклониться от работы в газете «Правда».

КОЧУБЕЙ. А, вы в этом смысле. Я не хотел расстраивать отца. Тамерлана Пурушевича. Он сильно расстроился бы, если б узнал, что меня приглашали в «Правду», а я не пошел. Он был член ЦК КПСС. Для него «Правда» – это было все.

МОРФИН. Я читал ваши некоторые статьи в «Правде». За девятнадцать восемьдесят девять, девятнадцать девяносто. Вы тогда писали, что у экономики социализма огромный запас прочности. А капитализм в Советском Союзе не наступит никогда.

КОЧУБЕЙ. Я этого не писал.

МОРФИН. Каким образом?

КОЧУБЕЙ. Никаким образом.

МОРФИН. Но там стоит ваша подпись.

КОЧУБЕЙ. Подпись стоит, но я этого не писал. Это писали стажеры, а я только подписывал. Меня вынуждали как члена партии.

МОРФИН. Я не очень понимаю эту систему. Вы можете поподробнее?

КОЧУБЕЙ. В газете были стажеры, в основном – дети и внуки членов Политбюро. Они очень хотели написать, что экономике СССР ничего не угрожает. Про гигантский запас прочности. Но с их фамилиями их не стали бы публиковать. И приходилось подписывать мне. Я отрабатывал свой долг перед «Правдой».

МОРФИН. Я все равно не совсем понял. Обычно в такой системе поступают наоборот – вы пишете, а биг босс подписывает своим именем. Как будто он написал.

КОЧУБЕЙ. Уже была перестройка. И все стало наоборот. Я не могу вам этого целиком объяснить. Давайте перейдем на другую тему. У меня не так много времени, к сожалению. Я должен ехать в посольство Финляндии. На прием.

МОРФИН. В честь министра экономики Урхо Зекконена? Этот прием был вчера. Вас там ждали, между прочим. Урхо Зекконен спрашивал два раза: прибудет ли мистер Кочубей?

КОЧУБЕЙ. Вы что-то хотели спросить меня, мистер Морфин?

МОРФИН. Согласен. Давайте дальше. Я хотел вас спрашивать, как получилось так, что из редактора экономики «Правды» вы сразу были назначены премьер-министром?

КОЧУБЕЙ. Не сразу. И не премьер-министром.

МОРФИН. Уточните, пожалуйста.

КОЧУБЕЙ. Когда развалился Советский Союз, я должен был стать первым послом свободной России в Ирландии.

МОРФИН. В свободной Ирландии?

КОЧУБЕЙ. Да, в свободной Ирландии.

МОРФИН. Почему вы не поехали?

КОЧУБЕЙ. Я не поехал. Моя теща, мать моей нынешней жены, – известная детская писательница. И она очень дружила с тогдашним министром иностранных дел. Теперь уже совсем забытый. Тузиков был такой. Краткий мужчина с низковатым голосом. Хриплый такой. Я даже не знаю, где он сейчас. Говорили, что работает где-то в Ираке. Или на фармацевтов. Или на фармацевтов в Ираке. И уже все было договорено. Ирландия – чудесная страна. Люблю ее. Напишите обязательно: чудесная страна, люблю ее.

МОРФИН. Я уже так написал. Wonderful, I like it.

КОЧУБЕЙ. Я выучил несколько фирменных ирландских приветствий. С детства читал гороскоп друидов, и запомнил.

МОРФИН. Признаться, я не знаю ни одного фирменного ирландского приветствия.

КОЧУБЕЙ. А еще я в юности зачитывался «Улиссом» Джойса. И благодаря этому влюбился в Дублин. Вы читали «Улисса» Джойса?

МОРФИН. Я читал. Хотя не могу сказать, что зачитывался. А в каком году вы впервые прочли «Улисса»?

КОЧУБЕЙ. В 75-м. Или 77-м. Точнее не помню.

МОРФИН. В каком языке?

КОЧУБЕЙ. На русском. Я по-русски читал.

МОРФИН. Я помню, что первый русский перевод «Улисса» был издан в девяностом году. Это не так?

КОЧУБЕЙ. Да, для народа – в девяностом году. Совершенно точно. Но был еще специальный перевод для ЦК КПСС. Его тайно издали в 75-м году. Мой папа в 74-м стал членом ЦК, поэтому у нас дома была эта книжка.

МОРФИН. Она у вас есть до сих пор?

КОЧУБЕЙ. Я подарил ее старшей дочери на совершеннолетие. А почему это вас так интересует?

МОРФИН. Я филолог. Я не зачитывался, как вы сказали, но меня интересовал Джеймс Джойс. Особенно переписка с Уэллсом. И почему все же вы не отправились в Ирландию как посол?

КОЧУБЕЙ. Был такой Геннадий Крокодилов. Он работал собкором «Правды» в Свердловске. Много лет работал. Пьяница был. То есть пил много алкоголя. Вы знаете, что такое – собкор?

МОРФИН. Честно говоря, нет.

КОЧУБЕЙ. Собственный корреспондент. И при мне, когда я возглавил отдел экономики «Правды», Гена все еще был собкором. А потом он стал у Ельцина руководителем канцелярии. И он позвонил мне тогда, и сказал, что Ельцин ищет советника по экономике. По радикальным экономическим реформам. И что моя кандидатура рассматривается. Было семь вечера. За мной прислали черный автомобиль «Волга», и я поехал на дачу к Ельцину.

МОРФИН. Крокодилов порекомендовал вас Ельцину?

КОЧУБЕЙ. Я этого не сказал. Он просто организовал черную «Волгу», которая пришла за мной.

МОРФИН. Но у вас был служебный автомобиль в газете «Правда»? Зачем надо было еще машину?

КОЧУБЕЙ. У меня тоже была «Волга». Но белая. Или даже какая-то грязно-серая. Такую не пустили бы на дачу к Ельцину.

*Пауза.*

Так вот. Ельцин принял меня. Мы пили водку. Очень хорошую водку по двести рублей бутылка. Тогда зарплата у шофера редакции была четыреста рублей. А тут бутылка водки стоила двести. Ельцин предложил мне стать его советником. По экономике. Сказал, что читал все мои статьи.

МОРФИН. Про надежность советского строя?

КОЧУБЕЙ. Нет. Другие. Я просил бы вас не возвращаться назад. Я могу сбиться, и тогда наша беседа потеряет смысл.

МОРФИН. Да. Извините. Ельцин предложил вам, и вы...

КОЧУБЕЙ. Отказался.

МОРФИН. Отказались?!

КОЧУБЕЙ. Отказался. Я ответил Ельцину буквально следующее. Дорогой Борис Николаевич! Для меня честь быть вашим советником по экономике. Но у советника нет никаких реальных полномочий. Я буду числиться советником, а тем временем руководить экономикой будут замшелые ретрограды типа академика Арцибашева. Которые ни черта в экономике не понимают и очень быстро приведут ситуацию к краху. И тогда мне, как советнику, придется отвечать. Я не смогу никому объяснить, что моих советов никто не слушал, а все слушали Арцибашева, потому все и развалилось. Лучше вообще не работать во власти, чем быть таким человеком во власти, которого никто не слушает. И тогда я сказал Ельцину: Борис Николаевич, если вы действительно хотите радикальных рыночных реформ, которые объективно необходимы стране, чтобы она не разделила участь Советского Союза, я готов взять на себя ответственность. Я готов стать министром экономики и определять идеологию реформ. Но, поскольку идеология без денег ничего не стоит, и опыт Советского Союза это доказал, я готов стать министром экономики и финансов и проводить реформы. Вот так я сказал.

МОРФИН. Вы так сказали Ельцину?

КОЧУБЕЙ. Да, разумеется. Я так сказал.

МОРФИН. Невероятная история! И что ответил Ельцин?

КОЧУБЕЙ. В этот момент принесли хороший французский коньяк за 344 рубля. Ельцин сказал, что подумает и даст ответ утром. Он оставил меня ночевать у себя на даче. Я не хотел оставаться у Ельцина. Я хотел ехать домой к жене. Но он меня уговорил.

МОРФИН. И что было утром?

КОЧУБЕЙ. Мы ели превосходный базиликовый джем. Просто отменный джем из базилика. У нас бывал такой еще дома, в Ташкенте. До 71-го года. Или до 72-го. У меня стала чуть хуже память на даты. Ельцин сказал, что согласен сделать меня министром экономики и финансов. Больше того: он предложил мне стать заместителем председателя правительства по экономике и финансам, чтобы курировать весь экономический блок. Налоговую,

таможню. Везде, где есть деньги. А председателем правительства, сказал Ельцин, буду я сам. То есть он сказал, что будет он сам, а не я. Президент предложил мне стать вторым человеком в стране. После него самого.

МОРФИН. Вам не страшно было соглашаться? Ведь у вас совсем не было опыта.

КОЧУБЕЙ. С одной стороны – страшно, конечно. Можно было поехать в Ирландию, наслаждаться пролесками и ни о чем не думать.

Но с другой стороны. Понимаете, я вышел из семьи заведующего отделом ЦК КПСС. Мой отец имел семь классов среднего образования, потом ушел на фронт. Нет, я ничего не хочу сказать плохого про моего папу, ни в коем случае. Тем более он еще жив. И третьего дня сломал лодыжку на правом запястье. Но я помню его друзей, коллег. Горбачева немножко помню. Это же все люди-то были крайне безграмотные. Не знали вообще ничего. Не читали книг, кроме устава партии и сталинского «Краткого курса». Ни слова не знали ни на одном иностранном языке. И если бы один из этих людей возглавил экономику при Ельцине – было бы лучше? Да они уничтожили бы все экономические ростки за считанные месяцы. Я понимал это. Поэтому я согласился.

МОРФИН. Скажите, а упомянутый вами Геннадий Крокодилов тоже был на том завтраке?

КОЧУБЕЙ. Нет. С чего вы взяли? Я уж и забыл.

МОРФИН. Но вы сказали, что это он представил вас президенту Ельцину. Я поэтому.

КОЧУБЕЙ. Видите ли, я в то время уже был очень известным экономистом. Мои статьи читали все. И Ельцин их читал. Я не нуждался в алкоголике Крокодилове, чтобы быть представленным президенту. Это смешно.

МОРФИН. А где Крокодилов сейчас?

КОЧУБЕЙ. Интересный вопрос. Если вдруг узнаете ответ на него, сообщите мне. Кажется, спился в Свердловске.

МОРФИН. Свердловск – это Екатеринбург?

КОЧУБЕЙ. Это Екатеринбург, правда.

МОРФИН. Очень интересно. Давайте продолжим. А почему вы потом стали премьер-министром?

КОЧУБЕЙ. Я думаю, что Ельцин оценил заслуги экономического блока нашего правительства и сделал меня премьером. Это очень просто.

МОРФИН. Но я имел в виду, почему Ельцин решил не занимать должность премьер-министра...

КОЧУБЕЙ. Ельцину запретил Конституционный суд. Запретил совмещать должности президента и премьера. Тогда он внес мою кандидатуру, и парламент меня утвердил. Собственно, и все.

МОРФИН. Но, насколько известно, парламент не хотел вас утверждать. Он утвердил вас с третьего представления.

КОЧУБЕЙ. Не хотел утверждать, потому что спикер был очень вредный человек и ненавидел Ельцина. Когда Ельцин сказал им, что введет чрезвычайное положение, если они меня не утвердят, они сразу же утвердили. Чего о них говорить? Кто-нибудь сегодня помнит этих депутатов?

МОРФИН. Простите, но здесь у меня будет один деликатный вопрос.

КОЧУБЕЙ. Деликатный?

МОРФИН. Вы не против деликатного вопроса?

КОЧУБЕЙ. Наверное, нет. Задавайте ваш вопрос.

МОРФИН. Дело в том, что два дня тому назад я встречался с Геннадием Крокодиловым. Он здесь, в Москве, и работает президентом Федерации спортивного карате. Просил передать вам большой привет.

КОЧУБЕЙ. Где Крокодилов и в какой федерации – совершенно не имеет значения. Ну?

МОРФИН. Вы подтверждаете, что в то время, когда парламент по просьбе Ельцина назначил вас премьерминистром, Крокодилов был шефом президентской канцелярии?

КОЧУБЕЙ. Наверное. Что из того?

МОРФИН. Крокодилов сказал мне, что за ваше назначение с третьей попытки спикеру парламента заплатили три миллиона долларов. Которые Ельцин распорядился выдать со счета некоей компании по торговле оружием. Он сказал, что лично передавал их спикеру.

КОЧУБЕЙ. Крокодилов – спившийся деградант. Я не вижу необходимости его комментировать.

МОРФИН. Не его, но только факт.

КОЧУБЕЙ. Это собачья чушь. Отвратительная собачья чушь. Цель которой – бросить тень на всех либералов и демократов России. Крокодилов всегда был внештатным сотрудником КГБ и теперь продолжает отрабатывать.

МОРФИН. Вы не подтверждаете факт передачи спикеру трех миллионов американских долларов?

КОЧУБЕЙ. Послушайте, мистер Морфин, вы всерьез думаете, что за пост премьер-министра России просили три миллиона? Он стоит миллиарды!

МОРФИН. Самые разные люди сказали мне, что в то время три миллиона были крупная сумма.

КОЧУБЕЙ. Если вы хотите продолжать интервью, мы не должны обсуждать горячий бред Крокодилова. Извините.

*Вытирает платком пот со лба.*

МОРФИН. Да-да, как вам будет удобно. Мы можем продолжать?

КОЧУБЕЙ. Извольте, Пол.

МОРФИН. Когда вы стали заместителем премьер-министра по экономике, у вас уже была готовая стратегия реформ?

КОЧУБЕЙ. Когда я стал заместителем премьер-министра по экономике, распался Советский Союз. У нас не было страны. Мы стояли на пороге голода, разрухи и гражданской войны. Стратегия состояла в том, чтобы все это предотвратить.

МОРФИН. Вы предотвратили гражданскую войну?

КОЧУБЕЙ. У вас есть в этом какие-то сомнения? Посмотрите на улицу – гражданской войны же нет.

МОРФИН. Простите, а каким образом вам удалось предотвратить гражданскую войну?

КОЧУБЕЙ. Решительными реформами, которые сыграли на опережение.

МОРФИН. То есть вы хотите сказать, что либерализация цен и уничтожение сбережений физических людей предотвратили гражданскую войну? Я тоже слышал теорию, что для войны нужны деньги. А если нет денег – никто не хочет воевать. Точнее сказать – никто не пойдет воевать. Чтобы воевать, нужно хоть немного кушать. А если нельзя кушать – невозможно воевать.

КОЧУБЕЙ. Я как-то не расслышал.

МОРФИН. Я имел в виду, что голодные люди воевать отказываются. Но это другой вопрос. Сейчас, много лет спустя, вы видите ошибки тех радикальных реформ?

КОЧУБЕЙ. Какие ошибки?

*Долго и пристально.*

МОРФИН. Вы полагаете, ошибок не было.

КОЧУБЕЙ. Я вам скажу о главном деле, которое мы сделали. Мы добились сжатия денежной массы. Мы уперлись насмерть и все-таки сжали денежную массу. Ни до нас, ни после нас это не удавалось никому.

МОРФИН. Вы осуществляли борьбу с инфляцией?

КОЧУБЕЙ. Да, хотя вы и филолог, но должны уже знать, что инфляция – явление монетарное. Потому, сжимая денежную массу, убиваешь инфляцию. Мы убили ее.

МОРФИН. В тот год, когда вы были премьер-министром, я впервые приехал в Россию. В первый раз после эмиграции моих родителей. И я точно помню, что инфляция была очень большая. Цены на продукты росли каждый день. Я выходил за кофе в ближайший майкросhop, и не было дня, чтобы...

КОЧУБЕЙ. Послушайте, ведь это я даю интервью, а не вы. Давайте я вам расскажу про борьбу с инфляцией, а не вы мне про кофе.

МОРФИН. Простите, я абсолютно не хотел.

КОЧУБЕЙ. Слушайте. Тогда, такой же зимой, когда я был премьер-министром, ко мне обратился главный редактор газеты «Правда». Африкан Иванович Тимофеев.

МОРФИН. Тот, который приглашал вас возглавить отдел экономики?

КОЧУБЕЙ. Тот самый.

МОРФИН. Он позвонил вам по телефону?

КОЧУБЕЙ. Какая разница? Он не мог позвонить по телефону. Потому что его бы не соединили со мной. В моей приемной. Я же был премьер-министром, понимаете. Премьер-министр не может разговаривать с каждым, кто звонит ему по телефону. Иначе ему только и останется, что говорить по телефону, а времени, чтобы вытянуть из болота смертельно больную экономику страны, уже не хватит.

МОРФИН. А как он с вами связался?

КОЧУБЕЙ. Он прислал срочную телеграмму. На правительственном бланке. Его секретарша где-то раздобыла правительственный бланк по старой дружбе. Или просто лежал у них в «Правде». В сейфе. Старый, еще советский бланк. А в моей приемной не рассмотрели. Толком. Черт. Пришлось читать африканью телеграмму. Так вот. Африкан Иванович перенес инфаркт в Германии. Поехал в Германию и там получил инфаркт. Нужна была операция. То есть – нужны были сто тысяч марок на операцию. И он просил ему помочь. Чтобы бюджет заплатил сто тысяч марок. И я хотел ему помочь. Я хорошо относился к старику Африкану. Но если бы мы заплатили – был бы новый виток инфляции. Все наши усилия по сжатию денежной массы пошли бы прахом. Вы понимаете? Я отказал Африкану Иванычу. Я взял на себя такую ответственность. Не знаю, кто еще в мире был тогда способен к такой ответственности, кроме нашей команды. Мы выстояли.

МОРФИН. И что стало с этим человеком?

КОЧУБЕЙ. Ничего не стало. Он старенький уже был. Все там будем, как у нас говорят в России.

МОРФИН. Но, если я правильно понимаю, оплата за границей не могла поднять инфляцию в России. Разве нет?

*Появляется звук, похожий на трение топора о скрипичную струну.*

КОЧУБЕЙ. Так всегда бывает, когда филолог приходит брать интервью у экономиста.

МОРФИН. Я брал интервью у многих экономистов, господин Кочубей.

КОЧУБЕЙ. А я тридцать пять раз давал интервью вашей газете. Нет – триста тридцать пять раз! И еще ни разу мне не задавали таких некомпетентных вопросов. Извините, господин Морфин, я не хотел бы продолжать.

Я вас не выгоняю, но. Вы можете посидеть в приемной, выпить чаю.

МОРФИН. Очень жаль, господин Кочубей, что так получилось. Я, тем не менее, расшифрую то, что вы уже сказали.

КОЧУБЕЙ. Я позвоню в редакцию «Вашингтон пост» и попрошу, чтобы мне больше не присылали людей, которые не знают, что такое инфляция.

МОРФИН. Я расшифрую и пришлю вам и-мейлом. Я могу взять у вашего секретаря адрес?



КОЧУБЕЙ. Возьмите. Ступайте, пожалуйста.

Пауза. Морщится. Закрывает глаза.

КОЧУБЕЙ. Пойдите, Пол. Вернитесь.

МОРФИН. Вы хотите возобновить интервью?

КОЧУБЕЙ. Я хочу сказать только одно. Вы можете включить диктофон. И записывать от руки. Пожалуйста.

МОРФИН. Я готов.

КОЧУБЕЙ. Как премьер-министр, я действительно совершил болезненную ошибку, о которой сожалею до сих пор. И я хочу, чтобы вы об этом написали.

МОРФИН. Мы напишем.

КОЧУБЕЙ. Когда я стал еще заместителем премьерминистра, мне дали государственную дачу. Члена Политбюро ЦК КПСС товарища Бакланова. Вы такого уже не помните. Дача была запущенная, потому что товарищ Бакланов был уже три месяца как в тюрьме. Он был член ГКЧП. Помните – ГКЧП, путч, переворот?..

МОРФИН. Да, конечно, помню. Топ-ивент мировой истории.

КОЧУБЕЙ. Семья Бакланова съехала. Сбежала от ужаса. Дача была запущенная. И там прибились бездомные собаки. То есть бродячие собаки. Человек десять. Или двенадцать.

МОРФИН. Человек или собак?

КОЧУБЕЙ. Человек. То есть собак. Собак. Но у меня жена тогда была беременная моей младшей дочкой. А у дочки и сейчас аллергия на бродячих собак. И я поручил начальнику моей охраны, чтобы он разобрался с собаками.

МОРФИН. Кто был начальник охраны?

КОЧУБЕЙ. Андрюша Полевой. Он сейчас работает вице-президентом по безопасности в Корпорации вечной жизни. У моего друга Бориса Толя. Вы же знаете Бориса?

МОРФИН. Я полтора месяца назад сделал с ним большое интервью для «Вашпост». И что было дальше с собаками?

КОЧУБЕЙ. Андрей переборщил. Я не знаю, понимаете ли вы это русское слово. Он сделал лишнее. Он расстрелял эти 12 собак.

МОРФИН. Как вы узнали, что он их расстрелял?

КОЧУБЕЙ. Их трупы лежали у задних ворот. Это было страшно негигиенично. Эпидемично это было даже. Работники дачи могли заразиться кариесом. В мертвых собаках всегда существует кариес.

*Пауза.*

Это была моя ошибка. Я должен был более четко объяснить начальнику охраны задачу. Собак надо было вывезти в лес. Но не расстреливать прямо под забором дачи заместителя председателя правительства. Меня до сих пор подташнивает, когда я об этом говорю!

Хватается за носовой платок.

МОРФИН. Вам плохо? Позвать секретаря?

КОЧУБЕЙ. Мне все нормально. Я решил публично признать эту ошибку. И за свой счет построить приют для бродячих собак. На моем дачном участке площадью ноль целых пять десятых гектара в Серебряном Бору. Вы знаете, где Серебряный Бор?

МОРФИН. Простите, какой площадью?

КОЧУБЕЙ. Пятьдесят соток. По нынешним ценам, почти пять миллионов долларов. Там будет собачий приют.

МОРФИН. Вы хотите, чтобы я это написал?

КОЧУБЕЙ. Я хочу, чтобы вы это написали.

МОРФИН. Я обязательно напишу, господин Кочубей.

*Исчезает.*

Людочка, проводи его. Так, чтобы он не обиделся. И еще – там есть коньячок. Треть бутылки. Очень сосет под ложечкой. Сегодня больше, чем прежде. И чем обычно. Какой фигни я ему наговорил! Даже херни – не фигни. Между фигней и херней есть чувствительная разница. Которую могут понять только люди нашего круга. Нашей страты люди, я бы сказал. Ужасно, ужасно. Где же треть бутылочки? Надо бы побыстрее.

Людочка, набери, пожалуйста, отца Гавриила. Спроси, могу ли я подъехать сегодня после вечерней службы. Мне очень надо. Именно сегодня. Когда заканчивается эта чертова служба?

## V

*Толь, Гоцлибердан.*

ТОЛЬ. Так когда начнут слушать в церкви?

ГОЦЛИБЕРДАН. В воскресенье. Все готово.

ТОЛЬ. Ты знаешь, я подумал: может, просто повесить жука попу на мантию? Нам же не нужно слушать всю церковь?

ГОЦЛИБЕРДАН. У него ряса.

ТОЛЬ. Что?

ГОЦЛИБЕРДАН. Не мантия, а ряса. Мантия – это типа у католических кардиналов. Правда, в православной церкви тоже был один митрополит, который ходил в красной мантии. Пока его не отравили. В Ватикане. Мгновенный отек легкого. На приеме у Папы Римского.

ТОЛЬ. Сколько у тебя всякого дерьма в голове, Гоц!

ГОЦЛИБЕРДАН. Да. Потому до сих пор и не миллиардер. В отличие от некоторых.

ТОЛЬ. Скоро будешь. Как говорил мозг русского либерализма Игорь Тамерланович Кочубей, дайте нам десять лет спокойствия – и вы не узнаете Россию. Помнишь, он говорил это в Верховном Совете? Перед самым расстрелом.

ГОЦЛИБЕРДАН. Дайте нам десять лет – и вы своих не узнаете. Помню. Это еще кто-то говорил до него лет за восемьдесят.

ТОЛЬ. Так что ты думаешь про костюм священника? Про жука, в смысле?

ГОЦЛИБЕРДАН. Прицепить на рясу сложно – нужен прямой контакт. Вот, можем пригласить попа освятить новый завод по производству презервативов, и там.

ТОЛЬ. Ладно, не говори ерунды.

ГОЦЛИБЕРДАН. Все интересующие нас разговоры ведутся в одной-единственной комнате. В правом крыле церкви. Смотрящем на юго-восток. Остальное не так важно.

ТОЛЬ. Ну и слава Богу. Они же сегодня встречаются, ты мне сказал?

ГОЦЛИБЕРДАН. Сегодня.

ТОЛЬ. И мы не узнаем, о чем они поговорили сегодня.

ГОЦЛИБЕРДАН. Не узнаем.

ТОЛЬ. Хорошо ли это?

ГОЦЛИБЕРДАН. Это все равно. Главные разговоры – впереди. До тех пор, пока Тамерланчик не уедет в Америку.

ТОЛЬ. Да, Гоц, тут возник интересный вопрос: а что, Игорь поедет один? На все пять недель?

ГОЦЛИБЕРДАН. Что ты имеешь в виду? Охрану мы ему обещали. Еще пилоты будут в твоём самолете. Ты-то как пять недель без самолета перебьешься?

ТОЛЬ. Я возьму резервный. Из 2-го авиаотряда. Нет, я имел в виду, он отправится без Марии?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты удивляешь меня, Боря. Когда Тамерланыч последний раз ездил куда-то с Машкой? Я ей предлагал со мной поехать в Доломиты на недельку, она отказалась, сука.

ТОЛЬ. Что?

ГОЦЛИБЕРДАН. Отказалась поехать со мной в Доломиты на неделю, сука. Говорит, дескать, работы слишком много.

ТОЛЬ. Какая у нее может быть работа?

ГОЦЛИБЕРДАН. В какой-то армии спасения от чего-то. Раздает подарки безногим детям. Жертвам противопехотных мин, ебаний в рот.

ТОЛЬ. Зачем противопехотным детям подарки? Она что, там всерьез работает или Игорь за нее платит?

ГОЦЛИБЕРДАН. Игорь в последнее время платит только церкви, ты знаешь. А Машке нужно чем-то заниматься. Не может же она весь день смотреть на его пьяную рожу. Тут и мертвый обалдеет.

ТОЛЬ. Ты сказал – обалдеет?

ГОЦЛИБЕРДАН. Я имел в виду совсем другое. Можешь считать, я этого не говорил.

ТОЛЬ. Да-да. Точно. Что же, Игорь будет совсем без женщины? Он в быту очень беспомощен.

ГОЦЛИБЕРДАН. Я понимаю, о чем ты. Правильный ход мышления.

ТОЛЬ. К тому же он не так уже хорош в английском языке, как ему кажется. Ему под рукой нужен переводчик.

ГОЦЛИБЕРДАН. Да. Переводчица. У меня есть такая на примете. Работает у нас в корпорации. Стажерка. Три месяца. Пятый курс лингвистического института. Раньше это называлось МГПИИЯ – место, где проститутки изучают иностранный язык.

ТОЛЬ. Красиво. Она сможет поехать вместе с Игорем? На пять недель?

ГОЦЛИБЕРДАН. За дополнительные сто баксов в день она сможет еще и не то.

ТОЛЬ. Приемлемо. А как ее зовут?

ГОЦЛИБЕРДАН. Анфиса. Очень красивое русское имя – Анфиса.

ТОЛЬ. Это невозможно. Игорь не согласится на переводчицу с таким плебейским именем. Как собачья кличка какая-то. Анфиса! Бр-р...

ГОЦЛИБЕРДАН. Ну, Игорь в последнее время что-то полюбил собак. Даже чересчур. А как ты предлагаешь назвать переводчицу, Борис Алексеевич?

ТОЛЬ. Ну, что-нибудь поприличнее. Я не знаю?

ГОЦЛИБЕРДАН. Например, Ноэми тебя устроит?

ТОЛЬ. Его, я думаю, устроит. А мне все равно. У нас есть такая переводчица – Ноэми?

ГОЦЛИБЕРДАН. Нет, конечно. Это будет та же Анфиса.

Мы ее переименуем.

ТОЛЬ. Она будет знать, что она Ноэми?

ГОЦЛИБЕРДАН. С первого дня. С первой минуты знакомства с классиком русского либерализма она будет самой настоящей Ноэми. Ей выдать новый паспорт?

ТОЛЬ. Обязательно. Ведь Игорь может туда заглянуть. Или случайно увидеть. Во Внуково-3. В ВИП-зале, перед посадкой в самолет. И что он тогда подумает? Что мы лжецы, а он должен лететь на пять недель с девушкой, которая вовсе даже Анфиса, а никакая не Ноэми?

ГОЦЛИБЕРДАН. Паспорт будет готов. Старый мы ей на всякий случай тоже оставим.

ТОЛЬ. Это меня не касается.

ГОЦЛИБЕРДАН. Профессор просил напомнить, чтобы ты позвонил в управление делами.

ТОЛЬ. Не беспокойся о профессоре. Я сам о нем беспокоюсь.

## VI

*Кочубей, Мария, Дедушкин.*

МАРИЯ. Я знаю, Евгений Волкович, вы любите фруктовый чай. Каркаде подойдет?

ДЕДУШКИН. Ох, Машенька, знал бы я в моей поволжской юности, что такое каркаде.

А вся страна узнала это благодаря вашему мужу. Благодаря Игорю, так сказать, Тамерланчу.

КОЧУБЕЙ. Страна узнала это благодаря китайским контрабандистам, профессор. У нас секретный разговор?

ДЕДУШКИН. Лишь отчасти, немного. Но, я думаю, Машенька нам не помешает.

КОЧУБЕЙ. Она нам совершенно точно не помешает.

МАРИЯ. Я пойду, с вашего позволения. Я никогда не люблю несекретных разговоров мужчин. Тем более – профессоров экономики. Они для меня скучноваты.

КОЧУБЕЙ. Профессоры или разговоры?

ДЕДУШКИН. Да что вы, Машенька. Вы, наверное, очень заняты по работе.

КОЧУБЕЙ. Сегодня суббота.

ДЕДУШКИН. Но это же евреи не работают по субботам. А Машенька же не еврей.

МАРИЯ. Машенька хуже, чем еврей. Чай скоро будет. Если что – зовите, господа.

*Исчезает.*

ДЕДУШКИН. А где работает ваша супруга?

КОЧУБЕЙ. В благотворительном фонде. Название я забыл. Развозят цветы по туберкулезным больницам. Букеты. На все праздники. И дни рождения врачей. Или больных. Я уже не помню.

ДЕДУШКИН. Прекрасное дело. Я бы сам с удовольствием разносил букеты по туберкулезным больницам. Но Академия отнимает все время, вот в чем беда. Надо держать Академию. Мы сильно разрослись, господин член ученого совета.

КОЧУБЕЙ. А я до сих пор член Ученого совета?

ДЕДУШКИН. Неужели вы думаете, что наш ученый совет мог бы обойтись без вас? Дорогой Игорь Тамерланович!

КОЧУБЕЙ. Но я давно не был на заседаниях. Уже скоро год. Я думал, там ротация, и меня вывели.

ДЕДУШКИН. Там есть ротация. Но она распространяется не на всех. На вечных людей, таких как вы, она не распространяется.

КОЧУБЕЙ. На вечных людей. Это вы занятно сказали. Надо посоветовать Толю. Взять меня для опытов в их корпорацию. Они только ищут рецепт вечной жизни, а тут уже целый готовый вечный человек. Печень, почки, селезенки. Все вечное.

ДЕДУШКИН. О-о-о, я, конечно, имел в виду в другом смысле. Но лет сорок вам еще надо протянуть, Игорь Тамерланович, хотя бы сорок. Совершенно обязательным образом. Без вас реформы никак не завершатся. Без вас они – они! – дадут задний ход. Поверьте мне. Я опытный человек.

КОЧУБЕЙ. Да кому нужны эти реформы, профессор... А чего все-таки меня не зовут на ученый совет.

ДЕДУШКИН. Ну как же не зовут! Ну как же! Зовут, еще как зовут. Всякий раз направляем с нарочным письмо на золотом бланке – и прямо к вам в приемную. А в приемной отвечают, что вас все нету. Заняты. Нет времени. Но мы с полным пониманием, так сказать.

КОЧУБЕЙ. И когда был последний ученый совет?

ДЕДУШКИН. Две недели назад.

КОЧУБЕЙ. А следующий когда?

ДЕДУШКИН. Через две недели.

КОЧУБЕЙ. Значит, он заседает раз в месяц?

ДЕДУШКИН. Значит, так.

КОЧУБЕЙ. Я в следующий раз обязательно приеду.

ДЕДУШКИН. Следующий совет будет как раз предновогодний. Подводим итоги года.

И раздаем маленькие подарки.

КОЧУБЕЙ. Какие?

ДЕДУШКИН. Как вы сказали?

КОЧУБЕЙ. Какие подарки?

ДЕДУШКИН. О, маленькие газонокосилочки фирмы «Сименс». Экспериментальные. На водородных двигателях. Вам точно понравится. Вы же любите энергосбережение. КОЧУБЕЙ. А водород тоже подарите?

ДЕДУШКИН. Водород?

КОЧУБЕЙ. Да. Аш два. Водород. Чтобы косилочки могли косить. Они же не косят без водорода. А надо, чтобы косили. Ведь если косилочка не может косить, то является ли она, в сущности, лучшим подарком – вот в чем вопрос.

*Пауза.*

Я совсем не хотел показаться неделикатным, но это действительно так.

*Пауза.*

ДЕДУШКИН. Когда меня спрашивают, почему именно Игорь Кочубей стал идеологом и водителем либеральных реформ в России, я всегда отвечаю: потому что у него уникальный по глубине проникновения ум. Ведь ни один, ни один из наших профессоров, ни из членов ученого совета, ни из попечителей...

КОЧУБЕЙ. Разве вы не знаете, профессор, почему Игорь Кочубей стал вождем либеральных реформ? Или – как вы назвали – водителем. Водителем реформ. Шофером реформ. Это забавно.

ДЕДУШКИН. Как почему?

КОЧУБЕЙ. Вы, может быть, не знаете. Я старался вам не рассказывать. Я очень боялся потерять жену. Потому и согласился пойти в правительство.

ДЕДУШКИН. Что вы говорите? Машеньку?

КОЧУБЕЙ. Да, мою нынешнюю жену. Марию. Домашнее имя – Марфа.

ДЕДУШКИН. Она что – серьезно болела?

КОЧУБЕЙ. Она вообще не болела. Она была звездой факультета. Не помните, профессор?

ДЕДУШКИН. О-о-о.

КОЧУБЕЙ. 91-й год. Мы поженились в июне. Еще при советской власти. Мне – 37, ей – 25. Я – уже лысоватый, скользкий, полный и вечно потею. Пастозный такой. Знаете, есть такой медицинский термин – пастозный. Она – первая красавица мировой экономики.

ДЕДУШКИН. И международных отношений?

КОЧУБЕЙ. И международных отношений.

ДЕДУШКИН. На нее все оглядываются. Все мужчины. И даже женщины. И не могут понять, кто рядом с ней. Двоюродный дядя или похотливый декан факультета?

ДЕДУШКИН. Как интересно вы умеете рассказывать, Игорь Тамерланович.

КОЧУБЕЙ. А я тогда – редактор отдела в «Правде». Газета ЦК все-таки, не хухры-мухры. Кабинет. 25 метров, между прочим. Помните, профессор, в институте экономики у меня была конура метров 12?

ДЕДУШКИН. Келья. Скорее, келья, чем конура.

КОЧУБЕЙ. Келья. А тут – 25 метров. И белая «Волга» с водителем. Но все это уже не то. И ЦК не тот. И «Правда» не та. И денег уже не хватает на молодую жену. Надо хоть пару

раз в месяц ходить в ресторан. Тогда открылись новые, китайские, в «Садко Аркаде», вы помните? Сейчас занюханные и грязные, с мухами поперек, а тогда ведь – казались Европой.

ДЕДУШКИН. Я помню в Центре международной торговли. Он еще как-то назывался.

КОЧУБЕЙ. Я по связям отца пошел в ЦК. Говорю: нельзя ли как-нибудь стать помощником Горбачева по экономике. Или советником. Я всех классиков пролистал, все экономические словари вызубрил, говорю. Я ему такие речи напишу, то мир снова увидит великого реформатора. И услышит его. И прочтет. С чистого листа, можно сказать, прочтет.

ДЕДУШКИН. Михал Сергеича?

КОЧУБЕЙ. Михал Сергеича. И вот, стало быть, в пятницу, 15 августа, 91-го года, в три часа дня, я как раз собрался обедать, у меня был поздний обед, в «Правде», в столовой, Африкан разрешал мне обедать в его отдельной столовой, – звонок! Из ЦК звонят и говорят – есть контакт! Вот 20-го подпишем, стало быть, союзный договор, а 21-го – подъезжай к Горбачеву! Он хочет сделать тебя советником по экономике.

ДЕДУШКИН. И что же – вы стали советником Горбачева?

КОЧУБЕЙ. Нет, история, профессор, была в другом. Я долго думал, говорить Марфе, то есть Марии, или не говорить. Но я и не должен был ее потерять. Ни одного шанса. И я ей сказал. В тот же день.

ДЕДУШКИН. Что же вы ей сказали, Игорь Тамерланович?

КОЧУБЕЙ. Что будут советником Горбачева. Михал Сергеича.

ДЕДУШКИН. Михал Сергеича.

КОЧУБЕЙ. Я был очень горд. Так горд, что меня распирало. Я боялся, чтобы не лопнул мой пастозный живот.

ДЕДУШКИН. О, какого лектора не хватает Академии в вашем лице. Игорь Тамерланович!

КОЧУБЕЙ. А что было дальше, вы помните.

ДЕДУШКИН. Не помню. Я как раз уехал с семьей в Пицунду. В Нижнюю Ореанду. У меня дочка Танечка только-только родила. Внучку мою Алисочку, вы знаете.

КОЧУБЕЙ. Как же вы могли поехать в Пицунду в Нижнюю Ореанду? Нижняя Ореанда же в Ялте. В Крыму. Там теперь Украина.

*Пауза.*

А вовсе даже не Россия. И в Пицунде не Россия. Хотя многие думают, что Россия.

ДЕДУШКИН. Да-да, именно так. Сначала – в Пицунду, потом – в Нижнюю Ореанду. Мы с женой – в Пицунду, а Танечка с Алисочкой – в Нижнюю Ореанду. А потом наоборот – Танечка с Алисочкой – в Пицунду...

КОЧУБЕЙ. А потом – наоборот. А потом – переворот. Советский Союз рухнул. И все отчего-то радовались. Только я не радовался. Я уже не становился советником Горбачева. И больше того: все сразу – «Правда», ЦК, белая «Волга» – все сразу умножалось на ноль. И я умножался на ноль. Было ясно, что Мария вот-вот уйдет. Она не согласится жить с совковым неудачником. Дедушкин. Куда уйдет?

КОЧУБЕЙ. Вдаль, Евгений Волкович. В ту самую даль. И я пригласил в «Арагви» – я с детства умел ходить в рестораны, меня папа научил – я пригласил в «Арагви» Генку Крокодилова. Был такой Генка. Любимый журналист Ельцина. Из Свердловска. Наш правдист. Собкор. Мы взяли на двоих литр дагестанского коньяку.

ДЕДУШКИН. Это безумно интересно, Игорь Тамерланович.

Подпрыгивает на одном месте.

Бьет тростью об пол.

О, как мои студенты мечтали бы все это услышать!

КОЧУБЕЙ. Дагестанского коньяку! Сейчас уже и не помнят, что был такой.

ДЕДУШКИН. Благодаря вам не помнят, Игорь Тамерланович. Благодаря вам. Все поговорно перешли на французский.

КОЧУБЕЙ. У вас в Академии?

ДЕДУШКИН. По всей стране, я вас уверяю. Я видел статистику. Я читал ее.

КОЧУБЕЙ. И я говорю ему: Генк, делай все что хочешь, я должен работать у Ельцина. Лучшего экономического спичрайтера все равно не найдете. Генка взялся. Потом – пошло-поехало. Так я и стал премьер-министром.

*Пауза.*

ДЕДУШКИН. Вы, должно быть, шутите, Игорь Тамерланович. Мы все знаем, что Ельцин пригласил вас на пост премьер-министра, потому что вы уже были мировой величиной в экономике. А кроме того – бесстрашным человеком, который мог бескомпромиссно идти путем либеральных реформ.

КОЧУБЕЙ. Ельцин, профессор, взял меня потому, что ему нравились мои тосты. Не все. Некоторые тосты. Под водку «Романов» за двести рублей бутылка. Но главное – мне потом Генка сказал. Я смотрел на Ельцина с сыновней преданностью. С сыновней! А у Ельцина никогда не было сына. Он грезил сыном, но не сложилось. Вот почему он меня назначил.

ДЕДУШКИН. Что такое Ельцин по сравнению с вами, Игорь Тамерланович! В учебниках экономики вам посвятят разделы, а Ельцин останется в примечаниях. И только благодаря вам, в сносках к вашим разделам.

КОЧУБЕЙ. Может быть, и так, Евгений Волкович. Но главное было сделано – я удержал жену. Она захотела остаться с премьер-министром России. Сначала – с заместителем, а потом – с премьером.

*Пауза.*

*Прочерк.*

Неужели все эти либеральные реформы не стоят одного каштанового взгляда моей Марии? Моей Марфы из деревни Большие Сумерки?

ДЕДУШКИН. То, что вы сделали, Игорь Тамерланч, войдет в века. У меня, собственно, к вам дело одно небольшое. Но очень серьезное.

КОЧУБЕЙ. Вы уже выпили ваш каркаде? Он остыл.

ДЕДУШКИН. Вы так интересно рассказывали, что я не мог пить каркаде. Я мог только слушать. Игорь Тамерланч, дорогой!

КОЧУБЕЙ. Да, что за дело?

ДЕДУШКИН. Известные американские круги – я бы даже сказал, влиятельные американские круги – вы, должно быть, понимаете, о чем речь.

Кочубей. О ком речь.

ДЕДУШКИН. Да, именно так: о ком речь. Эти круги хотели бы видеть вас с лекциями в Соединенных Штатах. В январе. Следующего года в январе. Восемь лекций. Точнее, выступлений, а не лекций.

КОЧУБЕЙ. А где в Штатах?

ДЕДУШКИН. Гонорар – двадцать пять тысяч долларов. За лекцию.

КОЧУБЕЙ. За выступление?

Дедушкин. За выступление.

КОЧУБЕЙ. Это очень скромный гонорар, профессор. Для бывшего премьер-министра. Вон, Клинтон по двести тыщ получает.

ДЕДУШКИН. Это не станет проблемой. Я уверен, что гонорар можно увеличить.

КОЧУБЕЙ. Не надо. Пока. А про что выступать?

ДЕДУШКИН. Опыт либеральных реформ. В России. Интерес огромный, Игорь Тамерланович, поверьте мне. К вам лично интерес огромный. И к опыту либеральных реформ. Надо соглашаться. Это будет триумфальная поездка, вот увидите.

КОЧУБЕЙ. Американцы обратились в Академию?

ДЕДУШКИН. Они обратились в Кремль. Попросили дать лектора об опыте либеральных реформ. И там, в Кремле, – сразу назвали вас.

*Полушепотом.*

А меня – попросили переговорить.

КОЧУБЕЙ. Переговорить, да. Лектором? Я должен ехать лектором?

ДЕДУШКИН. О, это я неудачно выразился. Простите. Простите. Вы едете как идеолог и лидер либеральных реформ. Вас знают все. Везде. Поверьте мне.

КОЧУБЕЙ. Я вам верю, профессор. Больше того: я вас люблю. Если бы вы только знали, как я вас люблю.

Крепко обнимает Дедушкина.

Это вы же взяли меня в Институт экономики на завлаба. Помните нашу лабораторию марксистско-ленинского анализа? С нее все и началось. Наше правительство молоденьких реформаторов. А помните, вы еще сделали меня секретарем общества книголюбов?

ДЕДУШКИН. Как же не помнить? Я об этом по ночам часто думаю. Когда бессонница. Вот, думаю, взял на работу главного русского реформатора. Другим советским старикам нечем гордиться, а мне – есть чем. Уже и помирать не стыдно.

КОЧУБЕЙ. Я тогда, используя служебное положение, отложил книгу Рейгана. Ну, не его книгу, а сборник его речей. Он назывался «Откровенно говоря». И всему обществу раздал книги без Рейгана. Его я оставил себе. И прочитал буквально часа за четыре. Помните, профессор, – у меня есть одна мысль, и я ее – думаю! Думаю – помните!

Вскакивает с дивана. Или со стула.

ДЕДУШКИН. Прекрасные были дни, Игорь Тамерланович. Или наоборот – ужасные. Кто его разберет.

КОЧУБЕЙ. Я плохо переношу полеты, Евгений Волкович. Джет лаг. После океанского перелета три дня не могу в себя прийти. Какие уж тут лекции. Или, как вы говорите, выступления.

ДЕДУШКИН. Там все предусмотрели. В вашем полном распоряжении будет частный самолет. И вы как раз прилетите на три дня раньше, для акклиматизации.

КОЧУБЕЙ. Про самолет вам Борис Алексеич сказал?

ДЕДУШКИН. Почему вы решили?

КОЧУБЕЙ. Значит, Борис Алексеич.

*Пауза.*

Но это все ерунда, профессор. Проблема совсем в другом. Я не знаю, о чем я будут рассказывать.

ДЕДУШКИН. Как о чем? О триумфе либеральных реформ, совершенно естественно.

КОЧУБЕЙ. О каком еще триумфе, Евгений Волкович! Это даже не смешно.

ДЕДУШКИН. Это не смешно. Это очень серьезно, Евгений Тамерланович. Только лучшие отели. В старинных дворцах, как вы любите. Только лучшие фуршеты. Стейк рибай среднехорошей прожарки, специально для вас. Лучшие конгрессмены, сенаторы – все, что пожелаете.

КОЧУБЕЙ. Лучшие конгрессмены. Вы же знаете, профессор, как делались эти реформы. Берешь ржавый допотопный шприц, набираешь в него под завязку мутной зеленой жидкости, потом находишь живое место на теле больного, и... Да и реформ-то никаких не было. Хренотень одна.



ДЕДУШКИН. Мы в Академии преподаем по учебникам, где сказано, что реформаторы предотвратили голод, разруху и гражданскую войну. Во главе с вами предотвратили, Игорь Тамерланович. С вами во главе.

КОЧУБЕЙ. Во главе со мной были разруха и голод?

ДЕДУШКИН. Ой, типун вам на язык. Реформаторы с вами во главе, реформаторы.

КОЧУБЕЙ. Да, четыре всадника. Разруха, голод, гражданская война. А какой четвертый всадник – не помните, профессор?

ДЕДУШКИН. Нет, честно говоря, не помню.

КОЧУБЕЙ. Четвертый всадник – смерть.

*Мария.*

МАРИЯ. Вы будете обедать, джентльмены?

ДЕДУШКИН. У меня постный день. Если только супчик. Пустой какой-нибудь, по возможности.

КОЧУБЕЙ. Вы соблюдаете пост, Евгений Волкович?

ДЕДУШКИН. Пост? Какой пост? А, да нет. Это так к слову пришлось. Постный. Это осталось от бабушки. Она у меня неграмотная была, из деревни.

КОЧУБЕЙ. Молдавские реформаторы прислали мне ящик превосходного коньяка. «Черный аист». Или даже «Суворов». Вскроем, профессор?

ДЕДУШКИН. Вскроем? Я вообще-то не пью. Но как Машенька скажет.

МАРИЯ. Идемте, идемте. Вскрывать будем потом.

## VII

*Кочубей, Дедушкин.*

ДЕДУШКИН. Как хорошо, что вы согласились, Игорь Тамерланч. У меня просто тяжесть с души упала.

КОЧУБЕЙ. Действительно, хорошо. Это коньяк подействовал. Согласитесь, молдавский бывает не хуже французского.

ДЕДУШКИН. Только у вас в столовой, дорогой мой главный реформатор. Я ведь, зачем собственно приезжал.

КОЧУБЕЙ. Пригласить меня от американцев. Разве нет?

ДЕДУШКИН. Это да. Разумеется. Но есть у меня еще маленькая просьба. У моей внучки Алисочки до сих пор нет вашей книги. Про гибель Советского Союза. Она пять раз меня просила, но я все стеснялся к вам обратиться. Но вот теперь, раз уж я здесь, у вас в имении.

КОЧУБЕЙ. Разве это имение? Все осталось в Среднем Поволжье.

ДЕДУШКИН. Простите, в каком Поволжье?

КОЧУБЕЙ. В Среднем. Где жили вы с неграмотной бабушкой.

ДЕДУШКИН. Да, как вы правы! Совсем-совсем неграмотной. «Аркадий Гайдар» не могла прочитать. Все путалась. А внучка моя, Алисочка, едет сейчас отдыхать на Гавайи. Тяжелый семестр был, вот и едет. А надо же что-то умное почитать. Чтобы плавно войти в новый семестр. Вот ваша книжка...

КОЧУБЕЙ. Вы действительно хотите дать внучке эту книгу?

ДЕДУШКИН. Конечно. Конечно. Это лучшее чтение на время отдыха. Это вообще лучшее чтение. У нас профессура зачитывается.

КОЧУБЕЙ. А доцентура?

ДЕДУШКИН. Как вы сказали?

КОЧУБЕЙ. А доцентура у вас – зачитывается?

ДЕДУШКИН. Доцентура – особенно. Профессура хорошо помнит Советский Союз, а доцентура.

КОЧУБЕЙ. Но вы же понимаете, профессор, что книга – говно? Извините за такой сложный экономический термин, но – полное говно.

*Пауза.*

ДЕДУШКИН. Ну, я право не знаю.

КОЧУБЕЙ. Вы сами книгу-то читали, дорогой профессор?

ДЕДУШКИН. Вы обижаете меня, Игорь Тамерланч. Я ее одним из первых читал. Наверное, вторым после вас. Я же был ее рецензентом для издательства – вы забыли? Кочубей. Ах, да.

*Пауза.*

Вы увидели в ней что-то хорошее?

ДЕДУШКИН. Вы, верно, испытываете меня.

КОЧУБЕЙ. Да нет, что вы. Просто книга получилась – фуфло полное. Там основная идея, что Советский Союз распался из-за цены на нефть. Упала цена на нефть – и не стало Советского Союза. А на самом деле же все было не так.

ДЕДУШКИН. Как не так?

КОЧУБЕЙ. Никак не так. Советский Союз рухнул, потому что дух из него весь вышел. Был дух – а потом не стало. Вот и умер. И нефть здесь совершенно ни при чем.

ДЕДУШКИН. Знаете, у нас в Академии полагают, что нефть – это все-таки понадежнее будет, чем дух.

КОЧУБЕЙ. Так и с людьми бывает. Люди что – от болезней умирают? Если бы! И не от старости даже. Они, эти люди, умирают, когда кончается дух. Вот был такой мхатовский актер, старый, я фамилию запамятовал, но точно на букву Ы.

ДЕДУШКИН. На Ы – это, стало быть, чукотский актер. У нас декан факультета экономики рыбы.

КОЧУБЕЙ. У него мечта была – встретить на сцене свое столетие. И он жил до ста лет без единой болезни. Ходил даже без палочки. И в день столетия вышел на сцену. И сыграл. То ли Макбета, то ли Гамлета, я уж не помню. А ровно через три дня – умер. Ничем ведь не болел – а умер. А почему?

ДЕДУШКИН. Почему?

КОЧУБЕЙ. Потому что цель жизни его исполнилась, и больше жить ему стало незачем. Дух вышел.

ДЕДУШКИН. Я вам хочу сказать, Игорь Тамерланович, у нас в Академии в киоске вашу книгу распродали за 3 часа. 700 экземпляров – за 3 часа.

КОЧУБЕЙ. А я вам хочу сказать, любимый директор, что я выкупил 5000 экземпляров этой книжонки. Из магазинов. Чтобы никто ее больше не читал. Хотел отправить в туберкулезные санатории, но жена отказалась. Не хочет, чтобы знали, кто ее муж.

ДЕДУШКИН. А так разве не знают?!

*Пауза.*

*Пристально смотрят друг на друга.*

Вы не хотите подарить Алисочке книжку с дарственной надписью?

КОЧУБЕЙ. Не хочу. Простите, профессор, категорически не желаю. Пусть Алисочка наслаждается белым песком. Виндсерфингом или как он там называется. Пусть трогает за хобот индейцев маори. А мое рукоделие ей ни к чему совершенно.

ДЕДУШКИН. Удивительно. А я ведь уже обещал внучке...

Что же мне теперь делать?!

КОЧУБЕЙ. Скажите, что экземпляров просто не осталось.

Вот допечатают, через пару лет, к моей смерти.

ДЕДУШКИН. Типун вам на язык!

КОЧУБЕЙ. Тогда и будут еще. И даже надпишем всем желающим мертвой рукой. Видите – вот этой мертвой рукой.

Показывает руку по локоть.

Напольные часы.

ДЕДУШКИН. Игорь Тамерланович, я знаю, у вас неважное настроение из-за этих собак.

КОЧУБЕЙ. Каких собак?

ДЕДУШКИН. Я знаю, вы вспомнили 12 собак, которые убила ваша охрана. Которых ликвидировала ваша охрана. Если так можно выразиться.

КОЧУБЕЙ. Откуда вы можете это знать? Я сказал о них только корреспонденту «Вашингтон пост», который был у меня три дня назад. Вы с ним говорили? С этим Полом.

ДЕДУШКИН. Нет, видите ли.

КОЧУБЕЙ. Тогда вам сказал Борис Алексеич. Правда? Я угадал?

ДЕДУШКИН. Понимаете, не мог Борис Алексеевич.

КОЧУБЕЙ. Он-то как раз и мог. Они прослушивают мой кабинет. Я всегда догадывался. В который раз уже так: что-то скажешь себе под нос – а послезавтра тебя попрекают.

ДЕДУШКИН. Боже упаси меня вас попрекать! Я просто хотел сказать, что не стоит так переживать из-за собак. Это мелочь. Эпизод. Вы – творец больших дел. А за большие дела приходится иногда платить маленькими досадами. Сколько раз.

КОЧУБЕЙ. Творец больших дел не сидел бы сейчас в Больших Сумерках. А собак действительно было жалко. Уже давно никого, а собак.

*Пауза.*

Вы знаете, что я решил построить собачий приют?

ДЕДУШКИН. Игорь Тамерланович, если вы меня пять минут слушаете, не прерывая, я расскажу одну очень поучительную историю.

КОЧУБЕЙ. Разумеется, профессор, я готов вас слушать не прерывая. С тех времен марксистско-ленинской лаборатории. Всегда готов.

ДЕДУШКИН. Это было в самом начале 83-го года. Брежнев только ушел, Андропов только пришел, закручивание гаек, все как полагается. Я, как вы помните, – доктор наук, в Институте экономики, заведу отделом теории экономики социализма. Крупнейший отдел. 48 ставок. А тут надвигается мой юбилей. 50 лет. Вы помните, у меня день рождения восьмого марта? Все всегда шутили.

КОЧУБЕЙ. А я никогда не шутил. Но я обещал вас не перебивать.

ДЕДУШКИН. И вот, как раз незадолго до юбилея мои цековские друзья мне сообщают: двигают меня на зама по науке! С перспективой последующего директорства! А дочка моя, Танечка, в 22 года совершила большую ошибку. Едва закончив институт, выскочила замуж за диссидента. Притом за очень неопрятного и русского. Намного старше ее. Ходил, понимаете, в драном свитере и всех поучал. А сам работал учителем физкультуры. Преподавателем физвоспитания. У них в институте, в Плешке работал. Он там и оценил фигуру моей Танечки. Вы знаете, она чуть-чуть тощенькая, угловатая, ей было сложно. А этот – оценил.

КОЧУБЕЙ. Я помню. Его звали Георгий Кравченко. Юра Кравченко.

ДЕДУШКИН. Вот как вы все помните, господин премьерминистр!

И едва я узнал про замдиректора, Танечка мне и говорит: приду на твой юбилей только с Юрой. А без Юры – вовсе, отнюдь совершенно не приду! Мы с женой, понятное дело, в шоке. Представьте себе. Пятидесятилетие профессора Дедушкина. Будет директор, академик Серафимович. Мой научный руководитель, академик Арцибашев. Мои товарищи из ЦК, из Совета министров. И тут, между ними – диссидент в грязном свитере! Который, как

выпьет первые 50 грамм, примется ругать советскую власть! Все же сразу встанут и уйдут. И никогда не видать мне никакого замства. Да из партии еще, того гляди, погонят.

КОЧУБЕЙ. Из партии. А вот меня вот никто не гнал из партии. Просто партия кончилась, а я в ней вроде как остался. Как в черной дыре. Надо заглянуть туда, чтобы посмотреть – есть я внутри или нет.

ДЕДУШКИН. Слушайте-слушайте. Это очень важно. Беда же не приходит одна. Ровно за неделю до юбилея звонят мне из КГБ. Представляете – ни разу за всю жизнь не звонили, а тут – звонят! Следовательно, полковник Несговоров. Я навсегда запомнил. Полковник Несговоров. Звонит и говорит: товарищ Дедушкин, вы когда сможете зайти? У меня душа в пятки. Все же из-за зятя моего, понятно. Но Танечке это сказать невозможно. Она молодая была, глупая, своенравная. Тогда была. Щас-то умная стала, а тогда – была. Я и жене решил не говорить. Не хватало еще, чтоб ее хватил инфаркт ко всем нашим шелковым платьям.

*Пауза.*

Моя бабушка говорила – ко всем нашим шелковым платьям. Так и осталось.

КОЧУБЕЙ. Из Среднего Поволжья, поди.

ДЕДУШКИН. Да-да, из Среднего. Из самого Среднего. Я пришел на Лубянку. Взял пропуск. Ноги подкашиваются. Сердце стучит – 200 ударов в минуту. Думаю: во что бы то ни стало взять себя в руки. Я же член партии. Член парткома Института. Нельзя так бояться КГБ! Это ж боевой отряд партии. Наш, собственно, боевой отряд. Захожу к полковнику Несговорову. Милый такой мужчина средних лет. Моложавый. Спортивный. Ростом под метр восемьдесят. Заговорили о том о сем. Я постепенно отхожу. И тут он мне говорит: у вас, Евгений Волкович, хранятся дневники Георгия Кравченко!

КОЧУБЕЙ. Дневники?

ДЕДУШКИН. Да-да, дневники. Это Танечка нам с женой дала какие-то бумаги зятя. И попросила спрятать у нас на даче. В Болшеве. Мы не хотели связываться, но не могли Танечке отказать. Это, видать, и были его дурацкие дневники. И полковник мне говорит: отдайте дневники добровольно, Евгений Волкович! Мы тогда, мол, в ЦК напишем, что вы честный мужчина и патриот. А если не отдадите – ну, пошло-поехало. У меня, знаете ли, вся жизнь перед глазами. Отец мой, командир пожарных частей.

ДЕДУШКИН. Пожарных соединений.

КОЧУБЕЙ. Пожарных соединений. Институт. Работа. Ученики. Академик Арцибашев. Все-все. И тут – идея приходит в голову. Великая, спасительная идея.

ДЕДУШКИН. Спасительная?

КОЧУБЕЙ. Спасительная. Я говорю полковнику Несговорову: товарищ полковник, я завтра же все дневники отдам. Но не могли бы вы задержать моего зятя на 15 суток? За мелкое хулиганство. Чтобы на днях задержать, а через 15 суток только отпустить.

Зачем вам? – спрашивает полковник. А сам уже улыбается в усы. Усов у него, правда, не было, но все равно улыбается. Все понимает. Что тогда этот Юрий Кравченко никак не попадет ко мне на юбилей. И Танечка, в знак протеста, тоже не придет. И никто никого не напугает. И все сложится хорошо. И.

ДЕДУШКИН. Он согласился?

КОЧУБЕЙ. Кто согласился?

ДЕДУШКИН. Полковник согласился? Я же обещал вас не перебивать.

КОЧУБЕЙ. По счастью, согласился. Я тут же – в Институт. Взял машину разгонную. Мне полагалось на 20 часов в месяц, как заведомо. И – в Болшево. Хватаю эти бумаги – и на Лубянку. А через суток трое – звонит Танечка: задержали зятя за оскорбление милиционера. У метро «Сокол». Не тем концом ел пирожок с капустой. Милиционер сделал ему замечание, и. Юбилей прошел превосходно. Через месяц я стал замом по науке. А еще через 2 года начался наш семинар. Вы помните, Игорь Тамерланович? Там все были. И вы, и Борис

Алексеевич, и даже юный Гоценъка. С пытливыми такими глазами. С этого и пошел весь русский либерализм.

ДЕДУШКИН. Вы думаете?

КОЧУБЕЙ. Бесспорно. Все ваше правительство там я пригрел. И если б не семинар, не было никаких либеральных реформ. И если б я не отдал тогда дневники, не стал бы я замдиректора, и – никаких реформ, никаких реформаторов. Мы жили бы по сей день в советском болоте. Вот что я хотел вам сказать. С полковником Несговоровым мы тогда и учредили наш русский либерализм.

КОЧУБЕЙ. А что же Юра?

ДЕДУШКИН. Какой Юра?

КОЧУБЕЙ. Он умер?

ДЕДУШКИН. Кто умер? Никто не умер.

КОЧУБЕЙ. Нет, Юра, Георгий Кравченко – он умер?

ДЕДУШКИН. По правде сказать, до конца не знаю. Танечка с ним, по счастью, разошлась. Вскоре и разошлась. Он стал слишком уж неопрятен. Не мылся по трое суток. От его свитера пахло козой, как супруга моя говорила. И грубый, грубый такой, что не было сил.

КОЧУБЕЙ. Юра точно умер. В лагере, в 87-м. Я читал его дневники.

ДЕДУШКИН. Какие дневники?

КОЧУБЕЙ. Видно, те самые, профессор, те самые.

ДЕДУШКИН. Но они же в архиве КГБ. В секретном архиве. Как же вы могли их читать?

КОЧУБЕЙ. Может быть, выпали из секретного архива. Или существовали в двух экземплярах. Их издали в девяносто первом. Двухтысячными тиражом. В Париже. В «ИМКАпресс». Там все это упоминается, что вы говорили. Про Таню, и про полковников разных.

ДЕДУШКИН. А про меня – тоже упоминается?

*Пауза.*

*Сердце.*

КОЧУБЕЙ. Про вас, Евгений Волкович, – ни слова.

ДЕДУШКИН. Слава Богу.

*Вспышка.*

*Или молчание – такое, как Слава Богу.*

КОЧУБЕЙ. Георгий Кравченко был, кстати, христианский демократ. Воевал за свободу вероисповедания.

ДЕДУШКИН. Я не знал. Я не интересовался делами моего первого зятя. Откровенно сказать, всему нашему кругу он был совершенно антипатичен.

КОЧУБЕЙ. В восемьдесят четвертом получил пять лет обычного режима. Не досидел. Умер.

ДЕДУШКИН. Об этом тоже в дневниках написано?

КОЧУБЕЙ. Нет. В предисловии. Мертвые же дневников не пишут. Только я буду посмертной рукой вашим внукам книжки надписывать.

ДЕДУШКИН. А кто написал предисловие?

КОЧУБЕЙ. Некто академик Сахаров. Помните такого?

ДЕДУШКИН. Ну, вы шутите... Мы просто приятельствовали с Андреем Дмитриевичем. Пили чай.

КОЧУБЕЙ. Каркаде?

ДЕДУШКИН. Каркаде тогда еще не было. Индийский был, со слоном. А что, эти – ээээ, дневники – они в магазине продаются?

КОЧУБЕЙ. Когда-то, наверное, продавались. Но я их не в магазине купил. Мне их духовник мой дал, отец Гавриил.

ДЕДУШКИН. Гавриил Сирин?

КОЧУБЕЙ. Гавриил Сирин.

*Исчезают.*

## VIII

*Кочубей, Дедушкин.*

ДЕДУШКИН. Вы знаете, любимый мой Игорь, я хотел вам сказать.

КОЧУБЕЙ. Скажите, профессор. Еще коньячку?

ДЕДУШКИН. Знаете, не откажусь. Такая волнительная история с этими дневниками. Или волнующая. Я путаюсь постоянно. Мне академик Ратушняк, мой друг старый, все время говорит, как правильно, а я все равно путаюсь.

КОЧУБЕЙ. Марфуша, дай нам, пожалуйста, еще дагестанского.

ГОЛОС НЕВИДИМОГО СУЩЕСТВА. Дагестанского нет и не было.

КОЧУБЕЙ. А какой же мы пили с профессором?

*Полушепот.*

ДЕДУШКИН. Молдавский, молдавский.

ГОЛОС НЕВИДИМОГО СУЩЕСТВА. Есть молдавский на донышке, и есть «Хен-несси».

КОЧУБЕЙ. В этот раз дай, пожалуйста, «Хеннесси».

МАРИЯ. Я вам налью в бокалы, а бутылку ставить не буду.

У профессора стенокардия, он мне сам говорил.

ДЕДУШКИН. Стенокардия. Уже сорок лет стенокардия.

КОЧУБЕЙ. А у меня ведь тоже много всяких есть историй, профессор.

ДЕДУШКИН. Я же и говорю – мы были бы счастливы принять вас как лектора. У нас в Академии. Хотя бы пару раз в месяц. Для старшекурсников.

КОЧУБЕЙ. Теперь уже после Америки. Наверное.

ДЕДУШКИН. Само предположение о вашем лекторстве сладостно для нас и почетно. Но я хотел о другом. Видите ли, многие считают, что появление этого священника в вашем окружении.

КОЧУБЕЙ. Да он ни в каком окружении не появлялся. Это я появился у него в церкви.

ДЕДУШКИН. Простите, любимый мой Игорек, но я думаю, это не совсем так.

КОЧУБЕЙ. Что не совсем так? Я пришел к нему в храм.

ДЕДУШКИН. Вы человек еще молодой и некоторых подробностей советской жизни просто не знаете. Так сложилось еще при Сталине, что многие священники становились агентами КГБ. Иначе им не давали работать священниками. А так – они докладывали содержание исповедей, и их оставляли в покое. И особенно подсылали священников к большим ученым, писателям, балетмейстерам. Ну, вы понимаете.

КОЧУБЕЙ. Вы хотите сказать.

ДЕДУШКИН. Вот именно. КГБ уже нет, и Союза нашего треклятого уже нет, как вы совершенно правильно заметили в вашей книжке, но традиции, традиции – остались. И ФСБ есть, и церковь до сих пор жива.

КОЧУБЕЙ. А кто многие?

ДЕДУШКИН. Какие многие?

КОЧУБЕЙ. Вы сказали, что многие что-то считают про отца Гавриила.

ДЕДУШКИН. Это я так фигурально выразился. Но шепоток идет. У нас в Академии доценты, даже ассистенты шепчутся. Зайдешь в курилку – а они там шепчутся. Стоят и

шепчутся. Или даже – сидят и шепчутся. Что попы охмурили Кочубея, простите меня за такие вульгарные формулировки.

КОЧУБЕЙ. Шепчутся.

ДЕДУШКИН. Но дело не в попе, то есть, простите, не в священнике как таковом. Этот отец Гавриил точно связан с ФСБ. Нам это доподлинно известно. Вы помните, как и при каких обстоятельствах познакомились?

КОЧУБЕЙ. Вам – это кому?

ДЕДУШКИН. А ФСБ по-прежнему ненавидит нас, Игорь Тамерланч. Либералов, реформаторов – ненавидит. Время идет, люди меняются, а ненависть эта остается. И вас лично сильно недолюбливают, поверьте мне.

КОЧУБЕЙ. Видите: всех ненавидят, а меня только недолюбливают. Это же достижение. Может, поп-кагэбэшник 163 меня отмолил?

ДЕДУШКИН. Как вы сказали?

КОЧУБЕЙ. Я в молодости так боялся КГБ, что когда министр безопасности генерал Козловский явился ко мне, министру экономики и финансов, чтоб подписать дополнительную смету на 130 миллиардов рублей, я ему ее тут же подмахнул. Не глядя практически. Хотя денег в бюджете не было. За что же им меня недолюбливать?

ДЕДУШКИН. Вот за это, прямо за это, Игорь Тамерланч.

Они всегда отвечают на добро – злом. Ты им – ватрушку творожную, а они тебе – дикий камень в протянутую руку.

КОЧУБЕЙ. Дикий камень – это у Гоца на даче. Фальшивый. Между нами, безвкусица страшнейшая. А что у вас за бумажки?

ДЕДУШКИН. Вот здесь – все про его сотрудничество с ФСБ. Этого Гавриила. Они целенаправленно на вас вышли. Все никак не могли, а потом – взяли и вышли. Через святого, так сказать, отца этого.

КОЧУБЕЙ. Если можно, положите их на комод. Я посмотрю после ужина.

ДЕДУШКИН. Посмотрите обязательно. И вся эта история с собачьим приютом. Я понимаю, вам жалко животных, но не в Серебряном же Бору... Заведение для бродячих собак – под окнами главных реформаторов. Это страшно представить себе!..

КОЧУБЕЙ. Был бы лучше приют человеческий, вы не находите?

ДЕДУШКИН. Какой?

КОЧУБЕЙ. Для бродячих людей.

ДЕДУШКИН. Для бомжей?!

КОЧУБЕЙ. Нет. Просто для бродячих людей. Которые бродят, бродят, а успокоиться не могут. Я отцу Гавриилу про это сказал, а он ответил – это же монастырь. Сделайте монастырь. Постройте его.

ДЕДУШКИН. Где монастырь?

КОЧУБЕЙ. Ну, в Серебряном Бору точно не поместится. А у вас мог бы и поместиться.

Дедушкин. Где у нас?

КОЧУБЕЙ. Вам же дали большой участок на Новой Риге? Дедушкин. Так точно. Семьдесят шесть га. Бывший военный городок. Со всеми коммуникациями. Лес смешанный. Удобный съезд с Новорижского шоссе. Городок уже разобрали. Но проект еще не закончен.

КОЧУБЕЙ. Там получился бы прекрасный монастырь, профессор, вы не находите?

ДЕДУШКИН. Ну что вы, Игорь Тамерланович, там по проекту – общежитие для иностранных студентов. Для особо важных студентов, так сказать. У нас же разные учатся. Вон, в прошлом году поступил племянник короля Свазиленда. Чернявый такой. Все на «Майбахе» ездит, да на «Майбахе». А в этом году в аспирантуру – внук султана Брунея. Я лично его научный руководитель. Делаем кандидатскую на тему экономической толерантности.

КОЧУБЕЙ. Им всем монастырь не нужен?

ДЕДУШКИН. А в левом флигеле – там мы с женой решили поселиться. Все-таки с Рублевки стало очень тяжело ездить. Забито. Все время перекрывают.

КОЧУБЕЙ. Вы разве не в Болшеве?

ДЕДУШКИН. Нет, в Болшеве – Танечка. А я – на минфиновской даче, в Горках-17. Давно уже. Казалось бы, всего двадцать километров от Москвы, а едешь-едешь, едешь-едешь. С Новой Риги там быстрее. Раз – и уже в городе.

КОЧУБЕЙ. Знаете, профессор, а не пойти ли нам всем в ФСБ?

ДЕДУШКИН. В каком смысле?

КОЧУБЕЙ. А вот в таком. Запишемся все вместе на прием к какому-нибудь многозвездному генералу, придем к нему всей гурьбой на прием, и попросим выделить нам духовных отцов.

ДЕДУШКИН. Я не расслышал: каких отцов?

КОЧУБЕЙ. Ведь если ФСБ приставит к каждому из нас по священнику, мы сможем стать свободными.

ДЕДУШКИН. В каком плане свободными? Мы разве и сейчас не свободны?

КОЧУБЕЙ. Свободными от самих себя, дорогой профессор. Знаете, это как берешь пульт для видеоманитона, и нажимаешь кнопку – «стереть». Если какой-то кусок фильма тебя страшно раздражает. Или – промотать. Чтобы некие сцены из картины – забыть и не вспоминать.

ДЕДУШКИН. Ой, это слишком сложные технические термины. Вы же знаете, я стопроцентный гуманитарий. Всегда им и был.

КОЧУБЕЙ. Я тоже.

Встают перпендикулярно.

Марфуша! Наш «Хеннеси» давно закончился. Мы хотим еще.

*Кочубей, Мария.*

КОЧУБЕЙ. Марфуша! А ты помнишь такое слово – Цизальпина?

## IX

*Мария, Кочубей.*

МАРИЯ. Цизальпина? Помню.

КОЧУБЕЙ. А что оно означает?

МАРИЯ. Авиакомпания такая сельская. Мы ей летели из Инсбрука в Тревизо. Помнишь? Еще самолет был такой, с пропеллерами. Качало страшно.

КОЧУБЕЙ. Ты думаешь, Марфуша, я был когда-то в Инсбруке или Тревизо? Какие удачные названия.

МАРИЯ. А разве не был? Мы с тобой.

КОЧУБЕЙ. Нет, но Цизальпина – это само совершенство. Не может быть, чтобы только авиакомпания. Представляешь, какое было бы женское имя – Цизальпина. Жаль, что мы не называли так нашу дочь.

МАРИЯ. Счастье, что не называли так нашу дочь.

КОЧУБЕЙ. А еще очень красивое слово – Илиодор. Мужского рода. Очень красиво. Правда, кажется, это какой-то отрицательный герой. Мне отец Гавриил сказал. Что-то не так сделал этот Илиодор. То ли Христа распял, то ли что-то в этом духе.

МАРИЯ. Про Цизальпину – это тоже от него?

КОЧУБЕЙ. Нет, просто вспомнилось. Тут у нас все-таки воздух хороший. Много вспоминаешь.

МАРИЯ. Может, и не было ни Инсбрука, ни Тревизо.

КОЧУБЕЙ. Ты куда-то собираешься?



МАРИЯ. Хочу заехать к Гоцам. Ненадолго. Они приглашали. КОЧУБЕЙ. В Серебряный Бор?

МАРИЯ. В Серебряный Бор.

КОЧУБЕЙ. Поезжай, конечно. Надо развеяться. А то Евгений Волкович слишком много энергии съел. Он вообще вампир. Я давно подозревал.

МАРИЯ. Может, с ними заглянем еще на концерт. Кочубей. А какой концерт?

МАРИЯ. Скрипичной музыки. Гоцы знают.

КОЧУБЕЙ. Сходи, сходи, конечно. Ты давно нигде не была. МАРИЯ. Ты заснешь?

КОЧУБЕЙ. Засну обязательно. Профессор вымотал всего насмерть. Там еще есть водочка?

МАРИЯ. Там целая батарея. Холодная. Ждет тебя.

КОЧУБЕЙ. Спасибо, дорогая. Поезжай обязательно. Я посплю пока и проснусь к твоему приезду.

МАРИЯ. Спи. Спи крепко, мой зайчик. Оставить тебе компьютер?

КОЧУБЕЙ. Оставь. Я посмотрю, что там происходит.

## Х

*Кочубей.*

КОЧУБЕЙ. Май вери дир Пол. Айм вери сорри. Правда, можно, наверное, по-русски. Вы же понимаете русский. Это ваш родной язык, как вы мне сказали. Я постараюсь не занять много вашего времени. Тем больше что пишу одним пальцем. Потому пишу медленно. Мне очень неприятно. Нет, мне действительно очень неудобно, что наша встреча так закончилась. Я вовсе не хотел прерывать интервью. Просто скопилось эмоциональное напряжение. Усталость сказала, как принято в таких случаях говорить. Я готов продолжить с вами общение. И завизировать интервью, которое вы мне пришлете. Я только хотел рассказать вам одну историю, которая, как мне кажется, заслуживает внимания. Добавить историю к тому, что было уже рассказано. В начале осени девяносто второго года, когда я работал премьер-министром, была рабочая поездка в Хабаровский край. За полярный круг. Хотя сам Хабаровск не за полярным кругом, и большая часть края не за полярным, там есть северный кусок, который за полярным кругом. И там – в этом северном куске – стоит фабрика по извлечению золота. И целый поселок вокруг фабрики. Сейчас уже не помню, как все это называется. Что-то типа – поселок Изумрудный. Но я могу ошибаться. Я закажу справку в своем институте, если хотите. Мы прилетели туда. С губернатором хабаровским, с министрами, все как полагается. И был обед. В здании столовой. Обычная изба, только из очень прочного, кажется, дерева. Стол прямоугольный. Сидят все – губернатор, министры, я во главе стола. Наливают какую-то жидкость, похожую на борщ. Борщ – это такой украинский суп, вы могли слышать. А у женщины, которая наливает, зубы все золотые. Как один. Ну, понятно, фабрика добывает золото, вот и зубы все золотые. И у директора фабрики, который с нами за столом сидит, тоже – все золотые. Я этого директора спросил – почему зубы-то золотые? Чего фарфоровые коронки не сделаете? Золотые уже много лет как не модно. Он только смеется, отшучивается. И я тогда у женщины этой спросил то же самое. У той самой женщины. Официанта. Она могла бы называться официантом. Если б не была такой тучной. Грудь, ноги, бихайнд – все невероятных размеров. Хотя добродушная такая, женщина. Доброжелательная. Она, наверное, повар была. Повар, а не официант. Повара все тучные. С большой грудью. Я прямо у нее и спрашивают: а почему зубы-то все золотые? Почему не фарфоровые? Так же сейчас уже не носят. Тридцать лет как не носят. Вот отец мой, как переехал в Москву из Узбекистана, сразу зубы золотые переделал себе на фарфоровые. А женщина-повар мне и отвечает. Она родом из Краснодарского края. Из станицы Ясиноватая. Это я точно запомнил. Приехала на

севера – я тогда такое слово впервые узнал, севера, это значит «север» во множественном числе, the Norths – в шестьдесят седьмом году. Чтобы заработать денег. На этих северах, во множественном числе, платили, оказывается, больше. Даже больше, чем в газете «Правда». Потому что там, на северах, – каторга, между нами говоря, настоящая. Три четверти года – тьма, полярная ночь. Выхать на Большую землю – они это так называют, Большая земля, грейтленд – практически невозможно. Ни ресторанов, ни клубов, ни кино. Только черное небо триста дней в году. Представляете себе? Вы, должно быть, смотрели фильм The Matrix, вот там тоже есть территория, похожая на севера. Но там – под землей. А у нас – на земле. Сверху. И, значит, эта поварица, или официантша, я не знаю, как точно правильно, накопила двадцать семь тысяч рублей. Я запомнил – не тридцать, не двадцать, а точно двадцать семь тысяч рублей.

Чтобы через четверть века вернуться на грейтленд, то есть в свой Краснодарский край. В восьмидесятые годы на двадцать семь тысяч рублей можно было квартиру купить в Краснодаре. Большую, хорошую. Как с папой у нас на Патриарших. Только там, в Краснодаре. Я, кстати, в Краснодаре никогда не был. Вы были? Отец мой ездил, а мне не пришлось. А в станице Ясиноватой, наверное, на 27 000 рублей можно было большой дом купить. Почти такой, как мой, – в Больших Сумерках, откуда я вам сейчас рассказываю эту историю. Не такой удобный, конечно, советский, совковый дом, но все равно. А в начале девяносто второго года эти 27 000 рублей превратились в триста долларов, даже меньше. И хотя страна была тогда бедная, за триста долларов ничего невозможно было уже купить. Только ящик леденцов. Типа «Марс» или «Сникерс». Или это не леденцы? Шоколадки? Да, скорее всего, шоколадки. И тогда, сказала мне поварица, когда мы поняли, что денег наших уже не осталось, мы решили остаться здесь, где полярная ночь, навсегда. Вот.

*Пауза.*

*Вспышка.*

Вы знаете, мне стало как-то очень неприятно. Так неприятно, как будто я раскусил перец. Да и не одну перчинку, а целую батарею черного перца. Просто плохо стало, практически. Я встал из-за стола. И решил уйти из столовой. Быстро пошел к выходу. К двери. Она была деревянной. Странно ведь, что за полярным кругом – деревянные двери. Охрана кинулась за мной. Я хотел открыть дверь, но не смог. Я надавил на дверь всей массой своего тела – и ничего. Дверь не открывалась. Я потребовал, я приказал, чтобы дверь немедленно открыли. Но ничего не происходило. Я пришел в бешенство. В ярость. Я думал, что они не хотят открывать. Что они хотят заставить меня доесть этот чудовищный борщ. Точнее, конское пойло, по ошибке названное борщом. Я кричал. Я ругался. Как премьер-министр – ругался на простых смертных. Но ничего все равно не менялось, и дверь открыть я не мог. И тогда выяснилось невообразимое. Оказывается, дверь снаружи завалило снегом. Так бывает за полярным кругом – вдруг случается снег, и заваливает все двери. И я, премьер-министр великой страны, не мог выйти из этой столовой, потому что за дверью был сплошной снег. Очень забавно, не правда ли? Потом они звонили по телефону, и вызывали людей с лопатами, и те срочно убрали снег. Сколько времени тогда прошло, пока убрали снег, я точно уже не помню. У меня подседа память, как говорит сейчас молодежь. Но дверь все-таки открылась. Сразу подали вертолет, и меня увезли в резиденцию губернатора. Я сразу выпил свой любимый правдинский коктейль – 100 грамм водки на пятнадцать капель валокордина. И заснул. И только утром мы улетели в Москву. Вот такая была история. Если она вдруг вас заинтересует, я буду рад, что не побеспокоил вас напрасно. А если не заинтересует... В общем, распоряжайтесь ей, как считаете нужным.

*Удар часов.*

Спасибо вам огромное, Пол. Бест ригардз. Вери трули йорс.

*Пауза.*

Простите, мой английский уже не таков, каким был в молодости.

## XI

*Толь, Гоцлибердан.*

ТОЛЬ. Ты видел эту дрянь в «Вашпосте»?

ГОЦЛИБЕРДАН. Не видел. Гораздо хуже. Слышал, блядь. Сдуру забыл выключить телефон на ночь. И сегодня – с восьми утра. Как из пулемета, ебанный в рот. Человек пятьсот позвонило: а что с нашим, еб твою мать, Тамерланычем?

ТОЛЬ. Особенно трогательная история про бабу с золотыми зубами. Он вообще там был?

ГОЦЛИБЕРДАН. Был, конечно. Я с ним ездил как помощник. Только это называлось не Изумрудный, а поселок Недосягаемый. Хабаровского края. Имени трижды Героя Социалистического Труда фельдмаршала Пантелича. И плохо Тамерланычу сделалось еще по дороге. Из Хабаровска. В вертолете укачало. Туда ж на машине не доберешься. Только вертолет. Вечная, блядь, мерзлота.

А все остальное было – и баба, и зубы, и борщ. Как шас помню.

ТОЛЬ. Да, тут без попа не обошлось. Они общаются?

ГОЦЛИБЕРДАН. Еще как. В субботу едет к нему после утренней мессы. Об чем-то советоваться. Но мы приготовили сюрприз. Приятный такой сюрпризик.

ТОЛЬ. Что там?

ГОЦЛИБЕРДАН. Письмо. Справка. Митрополит Фома, постоянный член Священного Синода, куратор православных учебных заведений. Вот, русским по белому: иерей Гавриил Сирин, в миру Федот Тумусович Сирин, в духовной академии проявлял себя с эксцентрической стороны. Излишне интересовался еретическими учениями. Замечен в частом произвольном толковании Священного Писания и Священного Предания. Предупреждался священноначалием Церкви об излишне агрессивной манере проповеднической работы с мирянами. Точка зрения иерея Сирина часто входит в противоречие с позицией соборного разума Церкви. Ту хум ит мей консерн. Печать и подпись, все как полагается.

ТОЛЬ. Неплохая бумажка. Как думаешь передать?

ГОЦЛИБЕРДАН. Это копия. Подлинник доставят с курьером из Патриархии. В их фирменном конверте. Церковь, блядь, веников не вяжет.

ТОЛЬ. Сколько стоило?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ни хуя. То есть даром. Этот митрополит – любовник Яшки, нашего охранника, лезгина. Помнишь Яшку?

ТОЛЬ. Что?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ну, любовник его, что тут непонятного.

Яшка Фому в жопу ебет.

ТОЛЬ. Фу, какая гадость!..

ГОЦЛИБЕРДАН. Яшка сказал: если дадите митрополиту десяточку, он такую же хуйню у Патриарха подпишет. Митрополиту деньги нужны. Зарплата маленькая.

ТОЛЬ. Да-да, надо именно чтобы бумага к Игорю без нас попала. Все правильно. А откуда взялся этот Пол Морфин? Его же недавно еще не было.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты, Борька, совсем охуел. Этот Пол полтора месяца назад брал у тебя интервью. Уже забыл?

ТОЛЬ. Это твой прокол, Гоц! Твой! Никто не должен ходить к Игорю без нашего ведома. Все интервью – только через нашу пресс-службу. У него кто в приемной сидит?

ГОЦЛИБЕРДАН. Людка Аршинова. Раньше в Минэкономике была. Она уже семь лет сидит.

ТОЛЬ. Если мы эту женщину не контролируем, надо ее убрать. Посадить нашу надежную девицу. И поставить ему пресс-секретаря. Нашего, нормального. Чтобы все звонки журналистов – туда. А то, знаешь, еще пара таких «Вашпостов», и никаких грехов не оберешься.

ГОЦЛИБЕРДАН. Будет сделано, мой повелитель.

ТОЛЬ. А почему ты уже этого не сделал?

ТОЛЬ. Вы не приказывали, я и не делал.

*Пауза.*

Понятно же, как мы все трепетно относимся к нашему Игорю Тамерлановичу.

ТОЛЬ. Ладно. Как Мария?

ГОЦЛИБЕРДАН. Машка – лучше. Были с ней третьего дня на концерте. Гутник джаз. С двумя «зз». Вот так: з-зз-з-з. Потом поехали трахаться. К нам в дом приемов, на Краснодворянскую. Трахается все так же. Даже лучше. Видно, что давно ни с кем не ебалась. Игоряша, видать, оплохел совсем.

ТОЛЬ. Ты поосторожней это. На Краснодворянской проходной двор.

ГОЦЛИБЕРДАН. Единственное безопасное место. Въехал за ограду – и никто тебя не видит. А потом, что – кто-то не знает?

ТОЛЬ. Ну, Игорь-то не знает.

ГОЦЛИБЕРДАН. Игорю нынче вовсе не до того. Он ушел в другие миры. В эмпирии, значит сказать. Секс его больше интересует.

ТОЛЬ. Не хватало нам еще какого-то видео вашего с Машкой.

ГОЦЛИБЕРДАН. Не беспокойся, мой повелитель. Если видео снимут, вы его получите первым.

ТОЛЬ. Это не повод, Гоц...

ГОЦЛИБЕРДАН. Согласен, согласен. Не повод.

ТОЛЬ. Ты послал к нему переводчицу?

ГОЦЛИБЕРДАН. В следующий понедельник.

ТОЛЬ. В Сумерки?

ГОЦЛИБЕРДАН. Конечно. Машка как раз пойдет со мной на открытие выставки Джеффа Кунса. С двумя «ф». Вот так: ф-ф-ф-ф... А мозг русского либерализма примет пока переводчицу. Ноэми, как вы и изволили высказаться.

ТОЛЬ. С техникой все в порядке?

ГОЦЛИБЕРДАН. Лучшее стерео, какое только бывает на свете.

## XII

*Кочубей, Мария.*

МАРИЯ. Ты сегодня лучше выглядишь, Игорь. Что-то случилось?

КОЧУБЕЙ. Случилось. Случилось. Я говорил вчера с отцом Гавриилом.

МАРИЯ. Ты говоришь с ним часто. Так что случилось именно вчера?

КОЧУБЕЙ. Он всегда прекрасен, но вчера был прекрасней обычного. Он предложил поехать с ним на Валаам. К монахам. На три недели.

МАРИЯ. Когда?

КОЧУБЕЙ. Под старый Новый год. Оказывается, старый Новый год – это обрезание Господне. По старому календарю. Григорийскому, кажется.

МАРИЯ. Ты не можешь под старый Новый год.

КОЧУБЕЙ. Почему не могу?

МАРИЯ. Ты едешь в Америку. С лекциями. Пять недель. Ты обещал. Тебя ждут.

КОЧУБЕЙ. А кому я обещал?

МАРИЯ. Профессору. И Боре с Гоцем, надо понимать, тоже обещал.

КОЧУБЕЙ. Но Боря с Гоцем со мной на эту тему не разговаривали. Это был сюжет Евгения Волковича.

МАРИЯ. Боря дает тебе самолет. И охрану. Ты забыл?

КОЧУБЕЙ. Они сказали, что еще дают мне переводчицу, чтобы я не ковырялся лишний раз в английском языке.

МАРИЯ. Кто это тебе сказал?

КОЧУБЕЙ. Гоц. Он звонил.

МАРИЯ. Значит, ты обсуждал с ними поездку.

КОЧУБЕЙ. Ну, в этом смысле обсуждал. Но я так понял, что это тема профессора. Это на него вышли из Кремля.

МАРИЯ. Игорь, никакого Валаама быть не может. Никаких монахов. Ты знаешь, я всегда была терпима к твоим фокусам, но все хорошо в меру.

КОЧУБЕЙ. Это никакие не фокусы. Это Валаам. Монахи. Север. В единственном числе. Один только север. Не севера, как на фабрике по извлечению золота.

МАРИЯ. Из-за этого интервью на меня уже косо смотрят.

КОЧУБЕЙ. Я сегодня видел охранника, потом нашу новую горничную – никто из них косо не смотрит. Кстати, а Зину ты уволила?

МАРИЯ. Когда ты неправ, у тебя всегда такой суетливый юмор. Зина ушла в декрет, я тебе девять раз говорила. Вместо нее – Света, ее сестра.

КОЧУБЕЙ. Почему я неправ? Да, я предварительно согласился ехать в Америку. Но я никому ничего не гарантировал. Мне пока даже не дали список городов. Вот если бы я получил список городов до вчерашнего разговора с отцом Гавриилом.

МАРИЯ. Список тебе совершенно не нужен. Тебя встретят и поведут за руку. И потом – ты помнишь про тридцать тысяч за выступление? Ты давно не зарабатывал денег, мне кажется.

КОЧУБЕЙ. Слушай, Марфуля, какие тридцать тысяч? Это копейки. Клинтон получает по двести.

МАРИЯ. Разбомбил бы ты Югославию – тоже получал бы по двести.

КОЧУБЕЙ. Да, ты права. Не получилось.

МАРИЯ. Игорь, забудь про свой Валаам. Забудь немедленно! Ты хочешь, чтобы я позвонила этому отцу?

КОЧУБЕЙ. Ты можешь звонить ему сколько угодно. Но я хотел тебе сказать. Я уже принял решение. Я поеду на Валаам. Если профессору нужна неустойка, я ее выплачу.

МАРИЯ. Что за бред, Игорь? Какая неустойка? Эта поездка нужна тебе, прежде всего тебе. Ты снова окажешься в обществе. В тусовке. С большими американцами. Где все интересуются тобой. Где ты великий и знаменитый. Ты хочешь спиться на этой даче? Я не очень вижу, чтобы святой отец чем-то помог твоему здоровью.

КОЧУБЕЙ. Но он же не врач, а святой отец.

МАРИЯ. Ты месяц не звонил своему обычному отцу. Не святому. А он болеет. У него перелом. Этот Сирин не говорил тебе, что по-христиански хорошо провести отца?

КОЧУБЕЙ. Говорил. Говорил. Но мы сейчас не об этом. Я точно знаю, что надо поехать на Валаам. К монахам. Это шанс. Я не могу его упустить. Что я потом скажу монахам: что мне платили по тридцать тысяч за выступление, поэтому я не добрался на Валаам?

МАРИЯ. Каким монахам, Игорь? Ты их в глаза не видел. Ты хоть знаешь, кто такие эти монахи?

КОЧУБЕЙ. Я знаю. Я понимаю. Любимая, ты не могла бы позвонить профессору и.

МАРИЯ. Нет, Игорь. Ты знаешь, я всегда готова поработать у тебя секретарем. Но не в этот раз, извини. Если ты хочешь сорвать поездку, в которую вложено столько всего, звони профессору сам.

КОЧУБЕЙ. Я ничего не хочу сорвать. Но поездки же еще нет. Ничего еще не вложено. Я даже не знаю, кто официально меня приглашает. Я только много раз слышал про Борин самолет. Но самолет – это любезность. Боря обрадуется, если мне не понадобится его самолет.

МАРИЯ. Я больше не могу, Игорь. Я еду на работу. Хочешь – звони профессору. Но это будет страшный скандал, я тебя предупреждаю. Я тебя как друг предупреждаю.

КОЧУБЕЙ. Ты разве мне друг?

МАРИЯ. Я буду поздно – сегодня приглашали Толи. У них новая выставка волосатых бабочек.

КОЧУБЕЙ. Бабочек. Где?

МАРИЯ. В доме приемов.

КОЧУБЕЙ. В доме приемов. Очень интересно. Я всегда мечтал поймать гигантскую волосатую бабочку. Похожую на маленького динозавра. Чтобы взгляд, такой гордый и глупый, как у динозавра. Но – бабочка, бабочка как есть. С перепончатыми крыльями. Поезжай, конечно. Ты будешь поздно?

МАРИЯ. Я тебе только что сказала.

КОЧУБЕЙ. Я пока отдохну. Посплю часок-другой. Чтобы набраться сил. И позвонить профессору. И сказать, пока еще есть время, что я совершенно напрасно согласился ехать в Америку. Потому что мне срочно нужно на Валаам. К монахам. Может быть, профессору так понравится эта идея, что он тоже захочет поехать на Валаам? Ты так не думаешь?

*Тишина.*

### XIII

*Дедушкин.*

ДЕДУШКИН. Машенька! Машенька, дорогая. Это я, Евгений Волкович. Да, я. Я вас не отвлекаю? У вас есть пара минут? Как славно. Видите ли, Машенька, мне уже 76 лет. Весной будет 77. У меня же день рождения 8 марта, вы помните. Я вас сразу же приглашаю. Да, в актовом зале Академии. Банкет – в комнате президиума. Прекрасно посидим, я уверен. Все шутили, что я единственный мужчина, которого поздравляют 8 марта. Да, да, да. Именно так. Видите ли, я уже думаю над тем, что через пару лет пора на покой. Я ушел бы и сегодня, но хозяйство огромное. 22 объекта только в России. 147 000 квадратных метров. Филиал в Лондоне. Филиал в Женеве. Сейчас думаем еще в Лас-Вегасе филиал открывать. Берем пансионат в Сочи. Строим на Новой Риге, где был военный городок. Нельзя все это бросить. Надо кому-то передать. А кому? Вот я потому звоню. Дочка моя, Танечка. Ей в новом году уже 50 лет. Взрослая. Докторскую сейчас доделываем. К майским праздникам защитим. То есть она защитит. Она девочка очень хорошая, вы ж ее знаете. Внучка Алисочка уже выросла. Муж второй, Изечка, от Танечки уже ушел. Словом, она могла бы взять на себя. Она упорная и безотказная, совсем как я. Да, вот и я к тому же. Я хотел бы, чтобы Танечку выдвинули в вице-президенты. Академии. На ученом совете. Под Новый год. Но я же не могу сам ее выдвигать. Вы же понимаете. Скажут: кумовство, семейственность. Что вы, что вы. Скажут, скажут. Вы современных людей не знаете. Как при советской власти, только еще хуже. Я потому и звоню. Я хотел попросить. Не знаю, как это лучше сказать. Конечно, конечно. Игорь Тамерланч – самый авторитетный у нас член ученого совета. И если б он предложил. Ну, внес если б Танечку. Кандидатуру Танечки. На вице-президента. Я был бы так ужасно благодарен. Вы же знаете, я всегда так благодарен Игорю Тамерланчу. Особенно, когда его нет на ученом совете. Мы все так переживаем. Так тоскуем, можно сказать. Я, бывает, минут по двадцать не открываю заседание. Все ждем его – может, все-таки появится? А потом открываю и минут двенадцать не могу собраться с мыслями. Думаю, если

б Игорь Тамерланч здесь был сейчас. Да, Танечку, Танечку. Дедушкину. Татьяну Евгеньевну. У нее моя фамилия. Первого мужа вы не знали. Он умер. От отека легкого. А второй был Изечка. Купершток. Но Дедушкин же красивее, чем Купершток. И потом, у нее все дипломы на мою фамилию, не переделывать же. С самого начала пошло – Танечка Дедушкина. А Танечка Купершток – это, согласитесь, совсем другое. Можно я вас послезавтра побеспокою. А то ученый совет уже скоро. На вице-президента. Я бы тогда ушел через пару лет. И все бы продолжилось, как сейчас. Уж и не знаю, как благодарить вас, Машенька. Я бы сам позвонил, но так неудобно его отвлекать. Бывает, звонишь, цифры набираешь, так прямо пальцы холодеют: думаешь – отвлечешь Игоря Тамерланча, а у него порыв пропадет. Мы же все новую книжку ждем. Презентация – в Академии. Обязательно. Ой, спасибо. Спасибо вам, Машенька. Обязательно. Я позвоню. Спасибо. Счастья вам, моя дорогая. Счастья. Не здоровья, а именно что счастья.

## XIV

*Толь, Гоцлибердан.*

ТОЛЬ. Где это – Валаам? Я спрашиваю: где это – Валаам?

ГОЦЛИБЕРДАН. Не кипятись. Где-то на севере. Он сам сказал: не на северах, а просто на одном севере. Между Валдаем и Соловками.

ТОЛЬ. Какие там еще монахи? Что за бред? 15-го – в честь него торжественный обед. В Нью-Йорке. В «Уолдорф-Астории». Значит, чтобы он успел прийти в себя, надо вылетать 12-го. Даже 11-го. Вчера первую сотку аванса перевели. Это какой-то паразитический бред!

ГОЦЛИБЕРДАН. Ты, наверное, хотел сказать – параноидальный.

ТОЛЬ. Да, параноидальный. Даже хуже, чем параноидальный.

ГОЦЛИБЕРДАН. Ничего такого уж страшного нет. Отменим поездку к монахам на хуй.

ТОЛЬ. Как ты ее отменишь?

ГОЦЛИБЕРДАН. Что, мало всего такого отменяли в жизни. Успокойся, Боря, я тебя очень прошу, еб твою мать.

ТОЛЬ. Я спокоен. Каждый должен заниматься своими делами. У меня на носу Конгресс вечной жизни. Доклад. Наноразработки. А я вместо этого ношусь с Игоревой поездкой. Да еще получаю какой-то Валаам под ребра. Там вообще есть жизнь, на этом Валааме?

ГОЦЛИБЕРДАН. Бывший концлагерь. С горячей водой большие перебои. Слушай, когда Игорь узнает, что дотуда надо ехать в плацкартном вагоне, а потом еще плыть на дырявой посудине.

ТОЛЬ. Надо сделать, чтобы узнал. Чтобы все это наваждение прекратилось. Отправляем его в Америку. И забываем. У меня Конгресс.

*Пауза.*

И забываем.

ГОЦЛИБЕРДАН. Надолго не забудешь. Сегодня у него «Фигаро», блядь. Неизвестно, что еще скажет.

ТОЛЬ. Какое «Фигаро»? Я же сказал, чтобы все только через нас. Как ты пустил к нему это чертово «Фигаро»?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ну, почему же чертово? Обычное ебаное «Фигаро». Он сам туда позвонил. Он дружит с Женевьев Пети, которая шеф бюро. Они договорились пить кофе. Сегодня, в пять вечера. В кондитерской дома Соломона. В трех минутах от Патриарших.

ТОЛЬ. Ты послал туда людей?

ГОЦЛИБЕРДАН. Разумеется. Мой повелитель.

ТОЛЬ. Завтра к десяти утра чтоб распечатка была у меня на столе. Пусть не поспят. Пусть придут к семи утра...

ГОЦЛИБЕРДАН. Все будет, будет. Только поможет ли нам эта распечатка?

ТОЛЬ. Что ты имеешь в виду?

ГОЦЛИБЕРДАН. Ни хуя, мой повелитель. Ровно ни хуя. Пойду собирать теплые вещи на Валаам.

ТОЛЬ. Этот юмор меня уже не устраивает. Я поеду к нему сам. Звони ему, скажи, что я приеду.

ГОЦЛИБЕРДАН. Когда ты приедешь?

ТОЛЬ. Я послезавтра приеду. Послепослезавтра. К нему. В Сумерки. Отменю встречу с группой борьбы со старостью и приеду. Все отменю и приеду.

ГОЦЛИБЕРДАН. Я так и передам. Пошел.

## XV

*Кочубей (в красном костюме), Анфиса.*

АНФИСА. Здравствуйте, Игорь Тамерланович. Меня зовут Ноэми.

КОЧУБЕЙ. Но-э-ми... Какое чудное имя. Я, пожалуй, жалею, что ни одну из трех своих дочерей не назвал Ноэми. А как пишется – Наэми или Ноэми?

*Пауза.*

АНФИСА. Под настроение. Можно и так, и так. КОЧУБЕЙ. Понятно. Вы переводчик, Ноэми?

АНФИСА. Я должна вам переводить. Пять недель. Во время вашей поездки в Штаты.

КОЧУБЕЙ. Пять недель, говорите. Да, пять недель.

За пять недель можно провести экономические реформы в какой-нибудь среднекрупной стране. Полностью. Под ключ. Вы работаете у Бориса, Ноэми?

АНФИСА. Я стажер. Я еще учусь. В университете. На четвертом курсе.

КОЧУБЕЙ. В университете? Интересно. Вот когда я был молод, как вы сейчас, точнее, когда я был юн, когда вы сейчас, в Москве был один университет. Или, нет два – обычный университет и Лумумба. Обычные люди учились в обычном университете, а цветные – в Лумумбе. А я правда, учился в МИМО. И никто не мог сказать, обычный я человек или цветной.

АНФИСА. Мне говорили, что вы очень яркий человек.

КОЧУБЕЙ. Кто вам это говорил?

АНФИСА. Мой папа.

КОЧУБЕЙ. Он разве знает меня?

АНФИСА. Он вас по телевизору видел. Когда вам вручали эту. как-то на Н.

КОЧУБЕЙ. Что мне вручали на Н?

АНФИСА. Нобелевскую премию. Вот.

КОЧУБЕЙ. Мне разве вручали Нобелевскую премию?

*Пауза.*

Ах, да. Ну конечно. Как же я забыл. Нобелевскую – значит Нобелевскую. Вот память ни к черту стала. Надо хоть гараж отремонтировать, пока Нобелевская не кончилась. Мне уже 55 лет, Ноэми. В этом возрасте память слабеет. Особенно у мужчин пастозного телосложения. Я знаю, что это неприлично спрашивать, но в вашем возрасте можно: а вам сколько лет?

АНФИСА. Двадцать один год.

КОЧУБЕЙ. Двадцать один год. Какое счастливое число. Когда мне было 21, как вам сейчас, я жил с родителями в квартире на Больших Каменщиках и больше всего мечтал об отдельном жилье. Куда можно пригласить однокурсников. И распить портвейн «Три семерки». Или пять звездочек. Или это коньяк три семерки, а портвейн – пять звездочек. А знаете, был еще такой «Слнчев бряг».



АНФИСА. Мне папа рассказывал.

КОЧУБЕЙ. А где работает ваш папа, Ноэми?

АНФИСА. Он тоже переводчик, как я.

КОЧУБЕЙ. А, значит, у вас это фамильное. Семейственное что ли. Вы должны хорошо говорить по-английски, наверное.

АНФИСА. Меня папа с детства научал. Мы жили далеко отсюда. В Гондурасе. Там все говорили по-английски, и мне легко было учиться.

КОЧУБЕЙ. Значит, Ноэми, ваш папа был переводчиком в Гондурасе. А разве там говорят по-английски?

АНФИСА. Нормальные люди – нет. Они – погондурасски. А индейцы там, таксисты, прислуга – все по-английски.

КОЧУБЕЙ. Вот ведь что. Гондурас точно можно было бы отреформировать за пять недель. И мне бы поставили памятник. На главной площади Гондураса. Из чистого золота. Молодожены бы фотографировались на фоне этого памятника. А раз в год, в День независимости Гондураса, мимо памятника шел бы военный парад. А в России так не выходит. Золота много, особенно за полярным кругом. Но ставить мне памятник никто не спешит. И парады идут куда-то совсем в другую сторону. Вот ведь как бывает, Ноэми.

АНФИСА. А еще мои сокурсники говорят, что вы гений.

КОЧУБЕЙ. Как они об этом узнали?

Анфиса. Ну...

КОЧУБЕЙ. Вот и я говорю. Неглубокая проработка вопроса. Тема раскрыта поверхностно. Я бы вашим сокурсникам за такого гения поставил три балла.

АНФИСА. Но вы точно гений. Это же видно.

КОЧУБЕЙ. Спасибо, Ноэми. Спасибо. Вы действительно очень добры ко мне. К старому, в сущности, человеку. Но я – бывший гений. Я раньше был гением. Когда сидел с Африкан Ивановичем за одним обеденным столом в «Правде». Или с Борис Николаичем с общей бутылкой в Барвихе. Когда в президиумах всяких сидел. А потом меня уволили. Из гениев. Сказали, послужил гением – освободи место другому. Товарищу освободи, так сказать.

АНФИСА. Разве из гениев можно уволить?

КОЧУБЕЙ. Можно, Ноэми. Можно. Это и есть мое главное ноу-хау. Я сейчас пишу книгу. Скажу вам по большому секрету. Не сдавайте меня ни в коем случае. Я сейчас пишу книгу о том, как увольнять из гениев. С точным описанием всей технологии. Вы знаете, что такое ноу-хау?

АНФИСА. Ой, это, по-моему, диски пятого поколения. Вот. Как хай-энд, только круче гораздо.

КОЧУБЕЙ. Вот-вот. Только круче гораздо. Это даже круче, чем Нобелевская премия. Когда я выпущу книгу про как увольнять из гениев, все сразу смогут мною гордиться. Особенно жена моя.

АНФИСА. Жена?

КОЧУБЕЙ. Да, жена. А что?

АНФИСА. Ее сейчас нет?

КОЧУБЕЙ. Она сейчас есть. Только не здесь. Она поехала на выставку больших волосатых бабочек. В Гондурасе есть большие волосатые бабочки?

АНФИСА. Ой, там есть все. Но я же еще маленькая там была. Бабочек не видела чего-то. Но они там точно есть. Мне папа говорил. Что даже на ночь выключают кондиционеры, чтобы в них не залетела большая бабочка.

КОЧУБЕЙ. А вот в России нет больших волосатых бабочек. И знаете, почему?

АНФИСА. Нет.

КОЧУБЕЙ. Потому, что в России очень холодно. И полярная ночь. Три четверти года – сплошная тьма. Темно, как в кино, когда реклама уже закончилась, а фильм еще не начался. Бабочки же не будут жить в таких условиях. Они же не люди, правда.

АНФИСА. Не люди. Очень смешно.

КОЧУБЕЙ. И я думаю, что смешно. Поэтому у нас в России есть только мертвые бабочки. И мой друг, Боря Толь, устраивает их выставки. Чтобы мы все видели, какие существа окружали бы нас, если б у нас тут было тепло и круглые сутки – полярный день.

АНФИСА. Ваша жена скоро приедет?

КОЧУБЕЙ. Вы хотите с ней познакомиться? Неизвестно. Бабочек же много. И всех надо рассмотреть. Часа через три. Может быть, четыре. Я только проснулся и немного плохо соображаю. Сейчас сколько времени?

АНФИСА. Половина восьмого. Можно, я поправлю ваши очки. Они так идут к этому красному костюму.

КОЧУБЕЙ. Поправьте, о боже. Мы должны с вами тренироваться говорить по-английски?

АНФИСА. Да, мы должны тренироваться. Но можем пока по-русски. Начинать по-русски.

КОЧУБЕЙ. Я, как вы, Ноэми, с детства учил английский.

Но не очень удачно. То есть учил-то удачно, а вот выучил не очень. Однажды приехал в Вашингтон просить денег – не для себя, а для бюджета страны – и прямо с порога сказал: дир лэдиз энд джентлменз. С «з» на конце.

Как джаз. 3-3-3-3-3. Представляете?

АНФИСА. С американцами так и надо. Построже с ними надо. А то они очень наглые. Чуть что – кладут ноги на стол.

КОЧУБЕЙ. Может быть. Но американцы меня и так понимают. Они хорошо читают по моим губам. Так что издавать звуки мне уже и необязательно. Открыл губы – и пошел.

АНФИСА. Как хорошо вы сказали – открыл губы! Вы любите танцевать?

КОЧУБЕЙ. С чего вы взяли?

АНФИСА. У вас глаза человека, который любит танцевать.

КОЧУБЕЙ. О, спасибо, Ноэми. Я из танцев знаю только два слова. Два очень красивых слова – пасодобль и хабанера. Но что значат эти слова, я не знаю. Думаю, что когда хорошее настроение и все получается, – это пасодобль. А когда хреново все – хабанера.

АНФИСА. Ой, я обожаю хабанеру! Хотите, станцуем? Как раз в таком красном костюме надо танцевать хабанеру.

КОЧУБЕЙ. Да что, я не умею танцевать. Да что вы. Да что вы.

АНФИСА. Не отбрыкивайтесь. Все вы прекрасно умеете.

Что вы отбрыкиваетесь, как второкурсник. Спокойно.

КОЧУБЕЙ. я. я. честное слово, хабанера... Может, лучше пасодобль?

АНФИСА. Я вам сделаю, как лучше.

*Танцуют.*

*Удаляются в темноту.*

## XVI

*Гоцлибердан.*

ГОЦЛИБЕРДАН. О, хабанера! Какие еще в жизни остаются слова! Когда великий русский народ, итить его в душу богоносец, поднимет нас всех на вилы, меня не поднимут. Меня возьмут диджеем в дом престарелых. Я буду ставить им на виниле хабанеру и пасодобль. А потом. Потом все сгорит. Весь винил. Все старики. Останется только пепел. Первокласный

деревянный пепел наших богоносных широт. И еще – я. Я останусь. Потому что хороший диджей всегда в цене. Хабанера!

*Танцует.*

## XVII

*Кочубей, Анфиса.*

АНФИСА. Вы давно не пробовали, мой босс?

КОЧУБЕЙ. Признаться, давно. Все не до того было. Старую книжку заканчивал. Потом отсыпался. Да, а Марфуши до сих пор нет. Двенадцатый час уже. Разве бабочки не заканчиваются к полуночи?

АНФИСА. Марфуша – это ваша домработница?

КОЧУБЕЙ. Что вы, Ноэми. Марфуша – это моя жена. Ее зовут Мария. Но дома я привык называть ее Марфа. Так повелось. Она откликается.

АНФИСА. Когда вы сказали «она откликается», мне вспомнилось про собак. Смешно. Это собаки откликаются на клички.

*Пристально.*

КОЧУБЕЙ. Собаки меня тоже интересуют. У меня было 12 собак. На даче. Когда я работал премьер-министром. Верней, заместителем. Их всех расстреляли.

АНФИСА. Как? Кто расстрелял? Вы шутите?

КОЧУБЕЙ. Разве я умею шутить, моя шикарная танцовщица? Их расстреляли агенты КГБ. Вы знаете, что была такая организация – КГБ?

АНФИСА. Мне что-то папа рассказывал. Но я точно.

КОЧУБЕЙ. Теперь ее уже нет. А тогда она была – вовсю. И КГБ приставил ко мне охрану. Специально, чтобы охрана раздражала меня. И мешала таким макарон делать либеральные реформы.

АНФИСА. Чем таким мешала?

КОЧУБЕЙ. Таким макарон.

АНФИСА. А что это – макар? Я не слышала.

КОЧУБЕЙ. Макары, ну, это сложно объяснить. Я занимаюсь этим всю жизнь.

АНФИСА. Я постараюсь понять.

КОЧУБЕЙ. Макары бывают очень разные. Иногда он – как «маузер». То есть как пистолет для внутреннего употребления. А иногда – как злой дух. Вы понимаете?

АНФИСА. Макары – это такой злой дух? Который выходит из болота?

КОЧУБЕЙ. Как вы догадались? Вы.

АНФИСА. А мне рассказывали в Гондурасе. Когда я маленькая была. Надо было бояться болотного злого духа. И я боялась. Как все.

КОЧУБЕЙ. Да, в Гондурасе живут мудрые люди. Я бы их отреформировал за пять недель. Ну, за шесть – максимум. Максимум за шесть, вы понимаете?!

АНФИСА. Вы такой гениальный, что хватило бы и трех. Максимум четырех.

КОЧУБЕЙ. Вы думаете? Вам видней, вы жили в Гондурасе. Я – нет. Хотя я-то с детства мечтал об Ирландии. Тут пяти недель бы уже не хватило. Ирландия даже слишком неприступная. Как вечная мерзлота. Особенно, если мерзлота – из шоколада. Так, пытаешься укунить – и только сможешь, что отморозить зубы. Ничего больше. Я в юности читал книгу «Улисс», и влюбился в Ирландию. Точнее, в город Дублин. Вы читали книгу «Улисс»?

АНФИСА. Разве это можно читать?

КОЧУБЕЙ. В моей юности казалось, что можно.

АНФИСА. Это же была дискотека такая. Дискотека «У Лис'са». У нас, на «Аэропорте». На ЦСКА, где вещевой рынок. Я тогда еще в третьем классе училась. Родители запрещали мне подходить ко входу. Но мы с девчонками все равно подходили.

КОЧУБЕЙ. Дискотека «У Лис'са». А что с ней потом стало?

АНФИСА. Ой, ее закрыли. Там, кажется, убили кого-то.

КОЧУБЕЙ. Хорошая была дискотека. Но все равно это же был филиал. А главная дискотека «У Лис'са» размещалась в городе Дублине. В Ирландии. Такое большое здание. С колоннами, как Дворец культуры. И над ним всегда идут облака в четыре яруса. Как ребенок навстречу маме. Это такие стихи. Поэт Корней Чуковский. Вы не читали?

АНФИСА. Корней Цековский? Ужасно смешное имя. Я ничего не слышала. Он был, наверно, очень давно.

КОЧУБЕЙ. Очень. Вас еще не было на свете, моя дорогая Ноэми. Кстати, а откуда такое красивое имя? Вы же родились в позднем совке, при перестройке. Тогда любили другие имена.

АНФИСА. Ну...

Пауза.

Мне говорили, кажется, что так назывался какой-то научный институт. Где мог работать мой папа. Но я точно не знаю.

КОЧУБЕЙ. Поразительно. А я так любил Дублин, что хотел поехать послом в Ирландию. Первым послом свободной России. Ваш папа не был послом?

АНФИСА. Кажется, нет. Но тогда вы должны хорошо знать ирландский язык.

КОЧУБЕЙ. Я его не знал. Я хотел только уехать в Дублин, чтобы удержать мою жену. Марию, она же Марфа. Или наоборот. Марфу, она же Мария. В Москве бы я ее не удержал. Но я стал премьер-министром, я, и мы остались в Москве.

АНФИСА. Мне всегда была ужасно интересно, как человек становится премьер-министром.

КОЧУБЕЙ. Почему интересно?

АНФИСА. Ну это же страшно круто – премьер-министр. Вот мне сокурсники сказали – есть такой Путин, премьер-министр. Он ужасно сексуальный. И голова уложена – просто волосок к волоску. Как у иностранцев. В гостинице «Марриотт Аврора».

КОЧУБЕЙ. Все было очень буднично. Меня назначил президент Ельцин. Вынул из сейфа бланк указа, стряхнул паутину, взял перьевую ручку – и привет. Вы слышали о таком человеке – президент Ельцин?

АНФИСА. Я слышала, что он был все время пьяный, и его никогда нельзя было увидеть.

КОЧУБЕЙ. Разве это препятствие? Я вот тоже все время пьяный, но вы же меня видите. По крайней мере, видели.

АНФИСА. Вы не пьяный. Вы трезвый. От вас не пахнет. Я чувствую. У меня хорошие нервы в ноздрах.

КОЧУБЕЙ. Совсем ничем не пахну? Это уже сюжет другого романа.

АНФИСА. Нет, то есть чем-то пахнете. Аромат какой-то есть, парфюм то есть... Это, мне кажется, новый сосновый «Баленсиага». Или «Хьюго Босс». Но скорее, «Баленсиага». Вы же не будете душиться «Боссом»?

КОЧУБЕЙ. Почему бы мне не подушиться «Боссом», дорогая?

АНФИСА. Слишком дешево. Не для премьер-министра.

КОЧУБЕЙ. Ну, я же бывший премьер-министр. Сейчас там, как вы сказали, сексуальный мачо, волосок к волоску. И Нобелевскую премию почти проели.

АНФИСА. Как вы сказали – проели? Смешно.

КОЧУБЕЙ. Что смешного?

АНФИСА. Я прямо представила себе, как вы сидите за столом со своими друзьями и едите эту Нобелевскую премию. Прямо руками, как пиццу.

КОЧУБЕЙ. Да, руками. Проест что бы то ни было можно только руками. Запомните это, Ноэми. Едет моя жена. Я слышу звуки ее выхлопных труб. Нам надо прощаться. До встречи в Америке, дорогая.

АНФИСА. До встречи, любимый премьер-министр.

*Хихикает.*

*Раскланиваются.*

## XVIII

*Кочубей, Толь.*

ТОЛЬ. Спасибо, Игорь, что нашел время.

КОЧУБЕЙ. Разве я нашел время? Это оно нашло меня.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.